



“Протекших дней очарованья”

О поэтике романсов А. А. Дельвига

А. М. БЕЛОШИН

В блестящей плеяде поэтов пушкинской поры А. Дельвиг выделяется как создатель шедевров русского романса, среди которых – “Соловей мой, соловей”, положенный на музыку А.А. Алябьевым и М.И. Глинкой, элегия “Когда, душа, просилась ты” на музыку лицейского товарища поэта М.Л. Яковлева и композитора А.С. Даргомыжского, “Не осенний частый дождичек”, о котором М.И. Глинка вспоминал: «Дельвиг написал мне романс “Не осенний частый дождичек”. Музыка на эти слова я впоследствии взял для романса Антонида “Не о том скорблю, подруженьки”, в опере “Жизнь за царя”» (цит. по: А. Дельвиг. Стихотворения. Л., 1951. С. 272).

Дельвиг отчетливо сознавал жанровую принадлежность своих произведений, называя их романсами, то есть создавая их для песенного исполнения. Сам поэт был необычайно музыкален. Образ поющего Дельвига запечатлелся в биографических сведениях и в мемуарах о нем. Его романсами вдохновлялись А.А. Алябьев и М.И. Глинка (романс “Не говори: любовь пройдет...”), П.П. Булгаков, А.С. Даргомыжский, В. Жданов и И. Рупини (романс “Прекрасный день, счастливый день”), Ф.С. Акименко, П.П. Шенк и В.А. Золотарев (романс “Только узнал я тебя”), А.Е. Варламов (романс “Одинок месяц плыл, зыбляся в тумане”), М.Л. Яковлев (романс “Вчера вакхических друзей”). Особенно любил песенное творчество Дельвига А.А. Алябьев, который сочинил музыку не только к романсам поэта, но и к его “русским песням”, представляющим собой стилизацию народных песен.

В чем же тайна обаяния стихотворений Дельвига, по-прежнему продолжающих волновать сердца читателей и слушателей его романсов? В них всегда идет речь о душе: “Зачем гасить душе моей Едва

блеснувшие желанья?"; "И чистая радость слетела В мрачную душу мою"; "И в нас душа кипела в ваши леты"; "Протекших дней очарования, Мне вас душе не возвратить!".

Но наибольшее место отведено душе в романсе "Элегия" ("Когда, душа, просилась ты"). В первой строфе поэт обращается к своей собственной душе на "ты", словно беседа с ней:

Когда, душа, просилась ты
 Погибнуть иль любить,
 Когда желанья и мечты
 К тебе теснились жить,
 Когда еще я не пил слез
 Из чаши бытия, –
 Зачем тогда, в венке из роз,
 К теням не отбыл я!

Во второй строфе риторические вопросы продолжают, но они уже обращены к "знаку" молодости – песням "прошлых дней", с которыми поэт также ведет мысленную беседу:

Зачем вы начертались так
 На памяти моей,
 Единый молодости знак,
 Вы, песни прошлых дней!
 Я горько долы и леса
 И милый взгляд забыл, –
 Зачем же ваши голоса
 Мне слух мой сохранил!

Вся "Элегия" построена на утроении и анафоре: трем вопросительным "когда", начинающим три придаточных предложения времени, соответствуют три риторических "зачем". Третья строфа также строится на утроении императивных глагольных форм с отрицанием:

Не возвратите счастья мне,
 Хоть дышит в вас оно!
 С ним в промелькнувшей старине
 Простился я давно.
 Не нарушайте ж, я молю,
 Вы сна души моей
 И слова страшного: люблю
 Не повторяйте ей!

Обращения "Когда, душа, просилась ты", "Единый молодости знак, Вы, песни прошлых дней" и пять эмоционально окрашенных предложений (отмеченных восклицательными знаками) придают фигурам поэтического синтаксиса этого романса особую выразительность.

Романтическое максималистское мироощущение выразилось в строках “Когда, душа, просилась ты Погибнуть иль любить”. Не случайно А. Белый вспомнил именно эти слова Дельвига в связи со смертью А. Блока, поэта-романтика XX века: «И душа просит: любви или гибели; настоящей человеческой, *гуманной* жизни, иль смерти. Орангутангом душа жить не может. И смерть Блока для меня это зов “погибнуть иль любить”» (цит. по: Рассадин Ст. Спутники. М., 1983. С. 46).

В романсе “Не говори: любовь пройдет” Дельвиг не желает мириться с реальностью: “Любви дни краткие даны, Но мне не зреть ее остылой; Я с ней умру, как звук унылый Внезапно порванной струны”. Поэт не надевает романтическую маску: он так чувствовал и в реальной жизни. Об этом говорят, например, его письма к своей невесте С.М. Салтыковой: “Пускай могут разлучить нас, но разлюбить тебя меня все силы земные и небесные не принудят” (Дельвиг А.А. Сочинения. Л., 1986. С. 301). «Береги меня твоею любовью, употреби все, чтобы сделать меня высочайшим счастливецом, или скорее скажи: “умри, друг” – и я приму это слово как благословение», – писал поэт, вынужденный дожидаться “величайшего счастья или совершенной гибели” – разрешения на брак. Отказ “разрушит всего меня, так разрушит, что ежели я останусь жить, то останусь по самой низкой подлости” (Там же. С. 296, 297).

Лирический герой Дельвига страдает от недостижимости вечной любви. Но это не холодное лермонтовское “вечно любить невозможно”, наоборот, дельвиговский герой готов заплатить за любовь даже счастьем:

Не говори: любовь пройдет,
О том забыть твой друг желает;
В ее он вечность уповает,
Ей в жертву счастье отдаст.

Летучесть и невозвратность счастья – лейтмотив романсов Дельвига. А цена, которую платит сердце за любовь, слишком велика:

Что мне в любви
досталось от небес жестоких
Без горьких слез, без ран глубоких,
Без утомительной тоски?

Об этом же и романс “Разочарование”:

Протекших дней очарованья,
Мне вас душе не возвратить!
В любви узнав одни страданья,
Она утратила желанья
И вновь не просится любить.

Вот почему душа погружается в сон: “Не нарушайте ж, я молю, Вы сна души моей И слова страшного: люблю Не повторяйте ей!”

Образ “сна души” в русской литературе многозначен, к нему обращались Батюшков, Баратынский, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Гончаров. В своем эссе, посвященном Дельвигу, Ст. Рассадин замечает, что сон души является у поэта аналогом творческого состояния, выражает средоточие душевных сил, “в стихах о желании смерти и сна сказалась отнюдь не ленивая вялость существования, а, напротив, слишком большая чувствительность. Слишком большая, чтобы жить” (Рассадин Ст. Указ. соч. С. 54). Критик справедливо поясняет, что сон души оказывается мучительно чутким: поэт боится слова “люблю” – значит, жажда любви и боли жива, постоянна.

О пробуждении души ото сна к любви – романс “Только узнал я тебя”:

Ты сне сказала “люблю” –
И чистая радость слетела
В мрачную душу мою.

Слово “люблю” все-таки было сказано душе. Стремительность пробуждения чувства подчеркивается интонационно – постановкой тире, означающего быструю смену событий, “только”, вынесением глаголов в начало строф:

Только узнал я тебя –
И трепетом сладким впервые
Сердце забилось во мне.
Сжала ты руку мою –
И жизнь, и все радости жизни
В жертву тебе я принес.

Используя противопоставления, антонимы (*мрачную – светлую, муки – счастье*), Дельвиг передает психологический процесс зарождения любви от эмоционального волнения (“Сердце забилось во мне”) до потрясенного безмолвия и ясного осознания того, что принесла любовь:

Молча гляжу на тебя, –
Нет слова все муки, все счастье
Выразить страсти моей.
Каждую светлую мысль,
Высокое каждое чувство
Ты зарождаешь в душе.

Образ света, который несет с собой любовь, появляется и в романсе Дельвига “Прекрасный день, счастливый день”:

Прекрасный день, счастливый день:
 И солнце, и любовь!
 С нагих полей сбежала тень –
 Светлеет сердце вновь.
 Проснитесь, рощи и поля;
 Пусть жизнь всё кипит:
 Она моя, она моя!
 Мне сердце говорит.

Романс проникнут ликующим ощущением счастья. Этому служит интонационная организация синтаксиса: восклицательные предложения, перечисления, обращения и бессоюзные предложения, между которыми стоят тире и двоеточия. Все это предполагает взволнованное повышение интонации и создает особую мелодику стиха, накладываясь на интонационную сетку ритма (как известно, на слабоударных стопах голос повышается, на сильноударных – понижается).

Дельвиг широко использовал в своих романсах фигуры поэтического синтаксиса: параллелизмы, повторы, риторические вопросы и т.д. И это было закономерно: “в поэтике традиционных поэтических образов синтаксис должен был иметь особое, часто решающее значение. Именно на ритмико-синтаксический строй ложилась тогда задача извлечения из слов тонких дифференцирующих оттенков” (Гинзбург Л.Я. О лирике. М., 1974. С. 45).

В “Краткой литературной энциклопедии” отмечено, что “лирика Дельвига, несмотря на свою камерность, сыграла большую роль в развитии поэтических форм и метрической техники в поэзии” (М., 1964. Т. 2. С. 583). Действительно, метрические формы у Дельвига разнообразны, но строго выдерживаются даже в случаях сложных чередований размеров, например, дактиля и анапеста, как в романсе “Только узнал я тебя” (метрика и строфика всех стихотворений Дельвига проанализирована и формализована в статье Л.Т. Сенчиной в сб. “Русское стихосложение”. М., 1979).

Дельвиг, как Вяземский и Баратынский, принадлежал к русской элегической школе, основанной Жуковским и Батюшковым. В поэтике этой школы мы не найдем ни ярких метафор, ни образной конкретики. По справедливому наблюдению Л.Я. Гинзбург, “элегическая поэтика – поэтика узнавания. И традиционность, принципиальная повторяемость является одним из сильнейших ее поэтических средств” (Указ. соч. С. 29). Эти своего рода стилистические “сигналы” – *слезы, мечты, сны, роптанья, желанья, доли и леса* и т.д. – “они относительно однозначны (насколько может быть однозначным поэтическое слово), и они ведут за собой ряды предreshенных ассоциаций” (Указ. соч. С. 27).

Эпитеты у Дельвига традиционны для поэтики романса: *жестокие небеса, мрачная душа, сладкий трепет, младые сны, глубокие раны*.

Но встречаются и эмоционально яркие, индивидуальные определения “*утомительной тоски*”, “*слова страшного: люблю*”. Перифразы Дельвига – также в духе поэтического стиля времени: “Когда еще я не пил слез Из чаши бытия, – Зачем тогда, в венке из роз, К теням не отбыл я!”. Вспомним лермонтовское стихотворение “Чаша жизни”: “Мы пьем из чаши бытия С закрытыми очами, Златые омочив края Своими же слезами”.

Выводы исследователей о поэтике русской элегической школы применимы и к романсам Дельвига: они – “характернейший образец устойчивого, замкнутого стиля, непроницаемого для сырого, эстетически не обработанного бытового слова. Все элементы этой до совершенства разработанной системы подчинены одной цели – они должны выразить прекрасный мир тонко чувствующей души” (Указ. соч. С. 29).

Впечатлительная и нежная душа Дельвига выразила себя в его романах, которые волнуют и трогают нас и сегодня своей искренностью, благородством и красотой. Они доносят до нас “протекших дней очарованья...”



Мотив стихии в прозе Тургенева

*О. М. БАРСУКОВА,
кандидат филологических наук*

Мотив бури, грозы имеет устойчивый круг значений в русской литературе. Одно из них связано с темой возмездия, Божьего гнева, наказания за совершенный грех. Другое – со всякого рода жизненными катастрофами, человеческими драмами, переломными моментами в судьбах героев. Нередко мотив разыгравшейся стихии (буря, метель, наводнение) сопровождает сюжетные эпизоды, в которых изображаются взрыв человеческих эмоций, бунт в душе героев, социальные потрясения.

Этот мотив не является исключительно тургеневским. Однако писатель довольно широко использует его, это один из “сквозных” символов в его творчестве.

Тяготеющий к символическому выражению художественной мысли, Тургенев придает общезначимым символам индивидуально окрашенное содержание.

Мотив грозы писатель часто связывает с темой любви. Так, в повести “Первая любовь” используется традиционный прием: проводится параллель между картиной природы и психологическим состоянием героя. За описанием дальней грозы следует признание влюбленного юноши: “Я глядел на немое песчаное поле, на темную массу Нескучного сада, на желтоватые фасады далеких зданий, тоже как будто вздрагивавших при каждой слабой вспышке... Я глядел – и не

мог оторваться; эти немые молнии, эти сдержанные блистания, казалось, отвечали тем немым и тайным порывам, которые вспыхивали также во мне. Утро стало заниматься; алыми пятнами выступила заря. С приближением солнца все бледнели и сокращались молнии: они вздрагивали все реже и реже и исчезли наконец, затопленные отрезвляющим и несомнительным светом возникавшего дня...

И во мне исчезли мои молнии. Я почувствовал большую усталость и тишину..." (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. М.–Л., 1960–1968. Т. IX. С. 28–29; далее только том и стр.).

Такая параллель устанавливает родство двух стихий – природной и человеческой (вспомним у Лермонтова: "Той дружбы краткой, но живой Меж бурным сердцем и грозой").

Психологическое состояние влюбленного юноши показано в движении – от бурных порывов чувства к душевному умиротворению. Душа человека, охваченного любовью, словно находится во власти стихии. Такое представление глубоко характерно для Тургенева, рассматривавшего любовь как проявление в человеке некоего иррационального природного начала. На такое значение указывают размышления героя о силе человеческой страсти: "Вот это любовь, – говорил я себе снова... это страсть! Как, кажется, не возмутиться, как снести удар от какой бы то ни было!.. от самой милой руки! А видно, можно, если любишь... А я-то... я-то воображал..."

Последний месяц меня очень состарил – и моя любовь, со всеми своими волнениями и страданиями, показалась мне самому чем-то таким маленьким, и детским, и мизерным перед тем другим, неизвестным чем-то, о котором я едва мог догадываться и которое меня пугало, как незнакомое, красивое, но грозное лицо, которое напрасно силишься разглядеть в полумраке..." (IX, 72). В этом фрагменте слово "грозное" – ключевое, и не случайно оно одного корня со словом *гроза*.

Как в повести "Первая любовь" всплески чувств в душе героев сравниваются с порывами ветра перед грозой, так и в "Дыме" подобным образом описывается душевное состояние героя: "В душе Литвинова поднимались, как мгновенные удары ветра перед грозой, внезапные, бешеные порывы..." (IX, 308), герой оказывается среди "вихря и мрака внутренней борьбы" (IX, 309).

Повесть "Первая любовь" отличает глубокое проникновение во внутренний мир влюбленного и в сущность человеческой страсти. В финале повести есть отрывок, в котором мотив грозы выражается метафорой, обозначающей юность, любовь, свежесть чувства: "И теперь, когда уже на жизнь мою начинают набегать вечерние тени, что у меня осталось более свежего, более дорогого, чем воспоминания о той быстро пролетевшей, утренней, весенней грозе?" (IX, 75).

Этот мотив органично сплетается с мотивом весны в повести "Вешние воды".

Мотив весны, вынесенный в заглавие повести и в эпиграф, выражается образом веселого, бурного потока, движущейся стихии.

Мотив грозы в “Вешних водах” связан с двумя сюжетными линиями: Санин – Джемма и Санин – Марья Николаевна. Герою сопутствуют две героини, представляющие полярно противоположные женские типы. Так же различны зарождаемые ими чувства: любовь светлая, возвышенная, благотворная для души и темная, чувственная, губительная страсть.

Рассмотрим два эпизода повести, в которых появляется мотив грозы. Первый из них – сцена, после которой начинается сближение Санина и Джеммы. Если в “Первой любви” Тургенев описывает реальную грозу, проецируя психологическое состояние героя на описание природы, то в данном эпизоде говорится о каком-то загадочном вихре, несущем предзнаменование свыше. Явление таинственной, мощной и грозной силы – это словно знак, поданный с небес, свидетельство значительности момента: “Джемма невольно остановилась на этом слове. Она не могла продолжать: нечто необыкновенное произошло в это самое мгновенье.

Внезапно, среди глубокой тишины, при совершенно безоблачном небе, налетел такой порыв ветра, что сама земля, казалось, затрепетала под ногами, тонкий звездный свет задрожал и заструился, самый воздух завертелся клубом. Вихорь, не холодный, а теплый, почти знойный, ударил по деревьям, по крыше дома, по его стенам, по улице; он мгновенно сорвал шляпу с головы Санина, взвил и разметал черные кудри Джеммы. Голова Санина приходилась в уровень с подоконником; он невольно прильнул к нему – и Джемма ухватилась обеими руками за его плечи, припала грудью к его голове. Шум, звон и грохот длились около минуты... Как стая громадных птиц помчался прочь взыгравший вихорь... Настала вновь глубокая тишина” (XI, 56). Ночь эта названа далее “электрически потрясенной” (XI, 70).

Символический мотив грозы повторяется в другом эпизоде повести. Рядом с Саниним уже не Джемма, а ее антипод – Марья Николаевна. Ее характер отделяется любовью к свободе, которую она ценит в жизни больше всего, в чем и признается Санину (сцена в театре). Темное, стихийное в ее натуре образует мощную силу, и она для Санина выступает в роли судьбы, которую ни преодолеть, ни обойти, ни изменить нельзя. Недаром Марья Николаевна заводит разговор о колдовстве и присухе, а сам Санин признается себе, что “он действительно был околдован” (XI, 147). Оба испытывают состояние душевного подъема, но главное лицо здесь – Марья Николаевна. Гроза для нее – праздник, как она сама говорит; это потрясение в природе отвечает потребностям ее души, все откликается в ней на этот родственный зов и приумножает силу ее влияния на Санина. После всего происшедшего с ним в лесу он уже окончательно поработан. Джемма не

обладает такой силой притяжения, несмотря на все ее девичье обаяние. Заметим, что женским персонажам типа Джеммы у Тургенева устойчиво присущи девичьи черты – так, например, герой “Фауста” замечает, что Вера и после замужества остается похожей на девушку, – в то время как героини противоположного типа всегда наделены ярко выраженной притягательностью пола.

Сопоставляя два рассмотренных нами эпизода повести, можем видеть, что в них символический мотив грозы выражает и тургеневскую концепцию любви, и тургеневскую интерпретацию женского характера.

В повести “Вешние воды” мотив грозы появляется именно в моменты сближения героя и героини, в кульминационные моменты в развитии любовной линии.

“Вешние воды” и “Первая любовь” объединяет общая трактовка мотива грозы – в обоих случаях в его содержании отражено сложное единство двух противоположных сторон любви – тяжелой, смертоносной страсти и животворного благодатного чувства, укореняющего человека в жизни. Такая противоречивость мотива объясняется диалектичностью представления Тургенева о любви.

Мотив грозы несет символическую нагрузку и в романе “Накануне”. Он появляется в сцене, непосредственно предшествующей объяснению Инсарова и Елены. Именно гроза – причина того, что они встретились в часовне, где и происходит объяснение в любви. Этот мотив связан с моментом сближения любящих, он символизирует разрядку накопившегося напряжения, наступление гармонии в их отношениях. У Елены после этого объяснения наступает состояние блаженства: “Она ничего не желала, потому что она обладала всем” (VIII, 94).

Приведем метафоры и сравнения, в которых Тургенев, говоря о любви, использует мотив грозы. В повести “Фауст” молния возникает между любящими, как между двумя полюсами, противоположно заряженными: “То, что было между нами, промелькнуло мгновенно, как молния, и как молния, принесло смерть и гибель” (VII, 41). В романе “Дым”: “Нежданное объяснение с Ириной застигло его врасплох; ее горячие, быстрые слова пронесли над ним, как грозовой ливень” (IX, 229). Там же: “Словно грозовой тучею налетела любовь” (IX, 182). То же в “Асе”: “Уверяю вас, мы с вами, благоразумные люди, и представить себе не можем, как она глубоко чувствует и с какой невероятной силой высказываются в ней эти чувства: это находит на нее так же неожиданно и так же неотразимо, как гроза” (VII, 107). Подобное сравнение еще раз встречается в “Дыме”, но гроза уже заменяется бурей: это два близких мотива: «Вспомнил он Москву, вспомнил, как “оно” и тогда налетело внезапно бурей» (IX, 260).

Повести “Затишье” и “Фауст” заканчиваются смертью героинь, причина которой – любовь. В одном случае происходит самоубийство

покинутой девушки, в другом – гибель, вызванная вмешательством мистической силы. В обеих повестях встречаются описания грозы, бури.

Повесть “Фауст” в некоторых чертах напоминает “Грозу” Островского. В пьесе Островского гроза, которой ожидали в первом действии, разражается в четвертом. Мотив этот несет композиционную функцию предупреждения о грядущих событиях, и содержание его связано с темой наказания, возмездия.

В “Фаусте” Тургенева описание грозы выполняет примерно ту же роль, что и основной символический мотив в пьесе Островского. При приближении грозы, пишет Тургенев, “из сада пронесся шум листьев, внезапно поколебленных налетевшим ветром” (VII, 27). Вера Николаевна, словно предчувствуя опасность, вздрогнула: в этом звуке ей слышалось зловещее предупреждение. Возникает мотив страха героини – и перед природной стихией, и перед опасной силой любви-страсти, которой она прежде не знала. Страх усиливается оттого, что ей предстоит нарушить запрет, наложенный матерью на ту сферу, в которую она теперь вступает. Это страх перед наказанием за нарушение запрета. Страх, вина, возмездие определяют в этом случае одну область значений символического мотива грозы. Другая область значений связана непосредственно с темой любви-страсти, как силы внешней по отношению к человеку, надличной и столь же опасной для него, как и другие бурные проявления природных сил. Закономерно возникает мотив возмездия. Тургеневский герой всегда наказан за то, что нарушает границы запретного. Мотив этот, как нередко у Тургенева, предвещает трагическую развязку, является указанием на нее.

Символично название повести: “Затишье” – это временное состояние покоя, но покоя кажущегося, в глубине которого накапливается напряжение, и оно непременно должно разрешиться бурей, бунтом стихии. Таким образом, мотив грозы, бури скрыто присутствует в названии произведения.

И в повести есть описание грозы. Эпизод, в котором оно помещено, не несет в своем содержании ничего драматического и тем более трагического. Если и видеть в нем символику, то лишь соотнося ее с финалом повести, где Веретьев и Астахов вспоминают дни молодости, счастья. Летняя гроза – символ тех ставших далекими счастливых дней, которые никогда не вернуться.

В “Затишье” есть и другое описание разыгравшейся стихии, и этот мотив выступает аналогом мотива грозы в той области его содержания, которая восходит к представлению Тургенева о враждебности окружающего мира. Параллельное развитие двух мотивов – разгула стихии и протеста в душе героини против безысходности жизненной ситуации – придает первому из них символический смысл. Такая функция символического мотива встречается и у других писателей

(изображение метели в “Капитанской дочке” и наводнения в “Медном всаднике” Пушкина). Воздушный вихрь, дуновение воздуха, порыв ветра в картине ночи, когда гибнет Марья Павловна, – выступают аналогом грозы и связаны с внутренним состоянием героини: “Ветер несся с визгом, как бы сляясь задуть фонари” (XI, 151).

Мотив грозы в первой половине повести и мотив бури, осеннего ненастья в конце ее образуют в “Затишьи” символическое единство, в содержании которого можно выделить (как в повестях “Вешние воды” и “Первая любовь”) две стороны. В одном случае рассматриваемый мотив символизирует молодость, счастье, любовь, в другом – враждебные человеку социальные и природные силы, власть рока, неизбежность смерти. Так сплетаются в творчестве Тургенева две темы – любви и смерти.

Такое сплетение определяет специфику рассказа “После смерти”. В нем ярко выражена мысль о том, что любовь – сила мистическая, что ее источник – вне сознания отдельного человека и даже влюбленной пары. Клара Милич приобретает черты демонической личности потому, что ей предназначено стать носительницей этого начала. Она должна была полюбить именно такой властной любовью, и не важно, на кого пал ее выбор. И вновь (как и в “Вешних водах”) женщина выступает в роли неотвратимой судьбы. После смерти Клары ее телесная оболочка больше не существует, но то стихийное начало, носительницей которого она была, материализуется как движение воздуха, вихрь: «Вдруг ему почудилось, что какой-то мягкий, бесшумный вихрь пронесся через всю комнату, через него, сквозь него – и слово “Я” явственно раздалось в его ушах» (XIII, 122). Даже в этом движении “через него, сквозь него” ощущается желание умершей героини слиться с предметом своей страсти.

Рассматриваемый мотив в этом варианте (вихревое движение воздуха) повторяется в описании сна героя. Сон Аратова насыщен символикой: “Лодка быстро мчится... но вдруг налетает вихрь, не вроде вчерашнего, бесшумного, мягкого – нет; черный, страшный, воющий вихрь! Все мешается кругом – и среди крутящейся мглы Аратов видит Клару в театральном костюме” (XIII, 128). Этот страшный вихрь – символ смерти (уже наступившей – Клары и приближающейся – Аратова).

Подобный мотив, выраженный метафорой, встречается в повести “Несчастная”, там, где говорится о смерти матери Сусанны: “О, какое это было горе, каким злым вихрем оно налетело на меня!” (X, 111). Здесь утверждается мысль о том, что “любовь сильнее смерти”, но общая тональность, характер тургеневского мистицизма вызывают у читателя ощущение, что и в самой личности Клары, и в характере внушенного ею Аратову чувства есть что-то темное, даже зловещее.

Кульминационный эпизод в повести включает мотив разыгравшейся стихии, наделенный символической функцией. Он повторяется

в этом фрагменте, как повторяется и мотив гнезда, выраженный метафорой, что позволяет говорить о соотношении этих мотивов.

Эпизод открывается описанием ненастья: “На дворе злилась и выла февральская вьюга, сухой снег по временам стучал в окна, как брошенный сильною рукою крупный песок...” (X, 100). Чуть позже еще раз упоминается вьюга: “Внезапный порыв ветра с резким свистом и стуком снега ударил в окно, холодная струя пробежала по комнате... Сусанна вздрогнула” (X, 103). Вечер этот в жизни Сусанны последний, и об этом знает она сама и догадывается ее собеседник: “Я понял, несмотря на свое легкомыслие и молодость, что в этот миг предо мной завершалась судьба целой жизни – горькая и тяжелая судьба” (X, 101).

Описание в финале повести пасмурного и холодного весеннего дня, когда хоронили Сусанну, образует параллель к рассмотренному нами кульминационному эпизоду, прежде всего потому, что здесь также встречается мотив разыгравшейся стихии. Таким образом, исследуемый мотив выполняет в повести композиционную функцию, связывая кульминацию с развязкой. Очевидна связь этого мотива с темой смерти, как и в повести “Затишье”.

Мотив вихря в романе “Дым” сопряжен с образом крыльев (герой чувствует прикосновение “темных крыл”) и также возникает в связи с темой любви-страсти. Вихрь ассоциируется с чем-то “неведомым и холодным”, он враждебен герою, который становится его бессильной жертвой. Вихрь налетает и разрушает еще только складывающуюся судьбу. Любовь-страсть оборачивается своей враждебной стороной.

В стихотворении в прозе “Голуби” мотив грозы выступает скорее как аллегория, но в этой аллегории яснее проступает то содержание, которым обычно наделяется символический образ бури. Здесь мы находим характерную для Тургенева антитезу. Два голубя – это семья (гнездо). Вокруг них создается небольшой замкнутый мирок, охранительный круг. А дальше – необъятный простор, где разыгралась буря, представляющая собой проявление природного начала. Подобные антитезы встречаются в других произведениях Тургенева: в повести “Несчастливая” (пространство окна – “гнездышко” Сусанны и отделенная от него стеклом улица, где гуляет февральский ветер), а также в стихотворениях в прозе “Конец света” и “Морское плавание”.

“Сквозные” мотивы грозы, вихревого движения воздуха, бури, метели можно рассматривать в художественном мире писателя как некое единство, обладающее символическим содержанием с довольно широким диапазоном; главное значение связано с темой любви-страсти.

Символический мотив стихии в целом выражает представление Тургенева о “тайных силах” жизни, враждебных человеку.

Рассмотренный мотив иногда повторяется в одном произведении, меняя свое значение. Так, мотив грозы в отдельных повестях встреча-

ется дважды, выступая как сложное диалектическое целое. Такая противоречивость определяется именно тургеневской философией любви.

Мотив разыгравшейся стихии в прозе Тургенева часто становится средством психологизма, указывая на разрядку эмоционального напряжения, которое испытывают герои в связи с развитием любовной драмы, и композиционно связан с ее кульминационным моментом.

Античные образы в произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина

Б. И. МАТВЕЕВ

Среди изобразительных средств, используемых М.Е. Салтыковым-Щедриным, значительное место принадлежит мифологическим образам и крылатым выражениям античного происхождения. Художественные функции их самые разнообразные.

Так, первое крупное произведение Щедрина, принесшее ему широкую известность, “Губернские очерки”, открывается поэтической зарисовкой окрестностей города Крутогорска (т.е. Вятки), где отбывал ссылку писатель: “В одном из далеких углов России есть город, который как-то особенно говорит моему сердцу. Не то чтобы он отличался великолепными зданиями, нет в нем садов семирамидиных, ни одного даже трехэтажного дома не встретите вы в длинном ряде улиц, да и улицы-то все немощные; но есть что-то мирное, патриархальное во всей его физиономии, что-то успокаивающее душу в тишине, которая царствует на стогах его...”. И кажется, что даже его “лачужки населяются Филемонами и Бавкидами, и вы ощущаете в душе вашей такую ясность, такую кротость и мягкость” (Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч.: В 10 т. М., 1988. Т. 1. С. 27–28; далее – только том и стр.).

В этом вступлении Щедрин дважды использует образы античного мира. Первый раз в связи с созидательной деятельностью легендарной ассирийской царицы Семирамиды, построившей “висячие сады” в Вавилоне, одно из семи чудес света, второй – с древнегреческим сказанием о неразлучной паре старых супругов, умерших одновременно.

По отношению к дальнейшему повествованию пейзаж выполняет контрастную функцию. Красота и безмятежность природы противопоставлены низменным страстям крутогорских чиновников, взяточников, казнокрадов и карьеристов.

Абсолютное равнодушие крутогорских чиновников к государственным интересам ярко передается Щедриным с помощью образа Фемиды, древнегреческой богини правосудия: “В провинции о казне существуют между чиновниками весьма странные понятия. Она представляется чем-то отвлеченным, символическим, несомым: так, пар какой-то, нечто вроде Фемиды в воображении секретаря уездного суда. Известное дело, что такую особу как ни обижай – все-таки ничем

обидеть не можно; она все-таки сидит себе, не морщится и не жалуется никому” (1,98).

К образу Фемиды писатель обращается и в других, более поздних произведениях, в частности, в “Современной идиллии” при описании квартиры адвоката Балалайкина: “Я ожидал увидеть нечто вроде квартиры средней руки кокошки – вдруг очутился в помещении скромного служителя Фемиды, понимающего, что, чем меньше будет в его квартире драк, тем тверже установится его репутация как серьезного адвоката” (8,55). Соседство богини Фемиды с кокошкой придает зарисовке сатирический характер.

“Княжна Анна Львовна” – история о тщетных попытках перзрелой девицы заполучить мужа. Отец княжны высокопарно именуется дочью Антигоной (1,99). В греческой мифологии имя Антигоны, дочери слепого фиванского царя Эдипа, добровольно последовавшей за ним в изгнание и не разлучавшейся с ним до дня его смерти, стало нарицательным для девушки, посвятившей себя уходу за беспомощным отцом. Но Анна Львовна – холодный, расчетливый человек, всецело занятый своими матримониальными интересами. Ничто в ее поведении не говорит о заботе об отце. Несоответствие прозвища персонажа его поступкам помогает читателю понять суть изображенного характера.

Упоминание имени мифологического бога брака Гименея подчеркивает лицемерие и алчность, царящие в “Приятном семействе”: “Марья Ивановна чего-то ждет от мужа, хоть бы, например, того, что я, преисполнившись яств, вдруг сделаю предложение ее *Sevigne*, которая безобразием превосходит всякое описание, а потому менее всех подаст надежду когда-нибудь достигнуть тех счастливых островов, где царствует Гименей” (1,118).

Используя античные образы, Щедрин иронизирует над персонажами цикла “Талантливые натуры”. Так, Корепанов не желает корпеть над книгами, “клевать по крупнице”, но не прочь был бы, если б нашлся человек, который бы знание влил ему в голову ковшом, и сделался бы он после того “мудр, как Минерва” (1,317), т.е. древнеримская богиня мудрости, рожденная из головы Юпитера.

Персонажи из “Талантливых натур” любят сравнивать себя с великими деятелями прошлого. Так, Лузгин, бездельник и фразер, “переваривающий на досуге свое прошлое и с горя протестующий против настоящего”, заявляет: “Я, брат, деревенщина, отношений ваших не знаю, я Цинциннат” (1,324). Согласно преданию, римский патриций и полководец Цинциннат удачно совмещал военную деятельность с занятием сельским хозяйством, чего никак нельзя сказать о Лузгине.

В очерке “Старец” о сектантах послереформенной поры описывается настоятельница скита, некая Наталья, которая превратила свою спархию в притон с дебелыми девицами, где укрываются уголовники

и прелюбодеи. Рассказчик именует ее Артемидой, что звучит саркастически. Дело в том, что древнегреческая богиня Артемиды – покровительница девственниц, а Наталья – покровительница разврата, женщина с темным прошлым.

В “Помпадурах и помпадурах” описывается высший слой провинциальной бюрократии. Его представители имеют классическое образование и поэтому в разговоре нередко касаются мифологических сюжетов.

Так, помпадур, отправленный на пенсию, в беседе о своем преемнике вспоминает Меркурия, бога торговли, покровителя плутовства и воровства: “О новом начальнике старик или вовсе умалчивает, или выражается иносказательно, то есть начинает, по поводу его, разговор о древнем языческом боге Меркурии, прославившемся не столько делами доблести, сколько двусмысленным своим поведением, и затем старается замять щекотливый разговор...” (2,25).

Главарь правых Гремикин уподобляется Юпитеру, верховному божеству: “Здоровенный, высокий, широкий в кости и одаренный пространством и жирным затылком, он рыком своим поражал, как Юпитер громом” (2,94).

Продажный публицист Златоустов, взявшийся придавать болтовне Митеньки Козелкова форму печатных статей, обретает в своем патроне Амфитриона – гостеприимного хозяина: “Вечером он уже имел с Митенькой продолжительное совещание, во время которого держал себя очень ловко, то есть смотрел своему амфитриону в глаза, улыбался и по временам нетерпеливо повертывался в кресле, словно конь, готовый по первому знаку заржать и пуститься в атаку” (2,12), – далее образ персонажа низводится до уровня жеребца.

Статский советник Быстрицын, прославившийся тем, что во много раз увеличил поголовье свиней и скрестил налима с лещом, сравнивается с Ипполитом, о котором по мифам известно, что он был охотником и почитателем Артемиды, покровительницы зверей: “Как истинный чухломец, он был не только скромн, но даже немножко дик” (3,225).

Тот же Быстрицын, излагая свою программу, заявляет: “...устраняю вредные элементы, которые могут представлять неожиданные препятствия для моего дела. Таких элементов я главнейшим образом усматриваю три: пьянство, крестьянские семейные разделы и общинное владение землей. Вот три гидры, которые мне предстоит победить” (2,131). По древнегреческим мифам, гидру, многоглавую змею, у которой, когда отрубали одну голову, вновь вырастали две новых, истребить было невозможно. Это удалось только Гераклу.

Исследование бюрократической системы, антинародной по своей сущности, Щедрин продолжает и в своей знаменитой “Истории одного города”. И здесь античные сюжеты и мифологические персонажи используются писателем в сатирических целях.

Простодушный летописец, от имени которого ведется повествование, сравнивает строительство города Глупова с сооружением Рима: “родной наш город Глупов... в согласность древнему Риму, на семи горах построен, на коих в гололедицу великое множество экипажей ломается и столя же бесчисленно лошадей побивается. Разница в том только состоит, что в Риме сияло нечестие, а у нас – благочестие, Рим заражало буйство, у нас – кротость, в Риме бушевала подлая чернь, а у нас – начальники” (2,297–298).

По словам летописца, “не только страна, но и град всякий, и даже всякая малая весь, – и та своих доблестью сияющих и от начальства поставленных Ахиллов имеет, и не иметь не может. Взгляни на первую лужу – и в ней найдешь гада, который иройством своим всех прочих гадов превосходит и затемняет” (2,296).

Как и в древней Греции, в Глупове велись войны, в том числе из-за представительниц прекрасного пола. Правда, греки сражались с иноземцами – троянцами, похитившими у них Елену Прекрасную, а глуповские градоначальники, возжелав жен своих подчиненных, – с собственным народом. Например, Фердыщенко, бывший денщик князя Потемкина, воспылав страстью к посадской жене Алене Осиповой, а после ее гибели к распутной стрелецкой девке Домашке, в ответ на возмущение горожан своим поведением вызывает войска, один вид которых приводит глуповцев в оцепенение.

Сменивший его на посту градоначальника Василиск Бородавкин картечью старается принудить глуповцев выращивать горчицу. Дело оказывается затяжным: “Заперся Бородавкин в избе и начал держать сам с собою военный совет... припомнилась осада Трои, которая длилась целых десять лет, несмотря на то, что в числе осаждавших были Ахиллес и Агамемнон. Не лишения страшили его, не тоска о разлуке с милой супругой печалила, а то, что в течение этих десяти лет может быть замечено его отсутствие из Глупова, и притом без особенной для него выгоды” (2,381).

Пристрастие Эраста Грустилова к женскому полу подчеркивает его литературная деятельность – повесть “Сатурн, останавливающий свой бег в объятиях Венеры”, “в которой, по выражению критиков того времени, счастливо сочеталась нежность Апулея с игривостью Парни” (2,419).

“Все остальное время, – пишет летописец, – он посвятил поклонению Киприде в тех неслыханно-разнообразных формах, которые были выработаны цивилизацией того времени” (2,423). Киприда – одно из имен Афродиты, богини любви, данное ей по названию острова Кипр, на берег которого, согласно легенде, она вышла после рождения из морской пены.

Использование мифологических образов в иронических целях является одной из характерных особенностей стиля Щедрина. Он неред-

ко наполняет имена мифологических персонажей новым содержанием, в соответствии с проблематикой своих произведений. Достигается это путем эпитетов, которыми наделяются мифологические боги и герои, или новизной обстановки, в которой они оказываются.

Так, открыватель источников быстрого обогащения в послереформенное время назван “приезжим Улиссом” (“Благонамеренные речи”), а купцы именуются “гостинодворскими Меркуриями” (“Письма к тетеньке”).

Не менее выразительны эпитеты в словосочетаниях: “земский авгур” (4,6), “шаловливая парка” (3,374), “юпитерские позы” (5,49), если вспомнить, что авгур – жрец, толковавший волю богов на основании наблюдения за полетом птиц; паркы – богини судьбы; Юпитер – верховное божество.

Экспрессивность текста повышается не только эпитетами, но и посредством соединения стилистически разнородной лексики, например, книжной и разговорной. Таков, в частности, абзац, раскрывающий трудности и непредсказуемость пути Молчалина к материальному благополучию: “Увы! он очень отчетливо понимает, что путь его еще долго будет путем скорбей и тревог, что долго еще не придется ему успокоиться на лоне умеренности и аккуратности... да и придется ли еще? Кто знает, быть может, в самом апогее его усилий, какая-нибудь шаловливая парка, курам на смех, возьмет да и порвет нитку, привязывающую его к жизни! И разлетится прахом все его многотрудное предприятие, и распадется гнездо его, и никто не вмешает жалобному воплю птенцов его!” (3,374). Здесь высокая лексика (*скорбь, апогей, парка, прах*) соседствует с разговорно-бытовой (*курам на смех*), что придает тексту особую выразительность.

Поразительно мастерство, с которым Щедрин переосмысливает миф об Орфее и Эвридику: “... в крепостном праве Петр Иванович потерял свою Эвридику. Он потерял ее в ту самую пору, когда чувствовал себя в полном соку, когда ни один физикат в целом мире не нашел бы в нем ни малейшей погрешности, которая бы свидетельствовала о его несостоятельности. Мог ли он позабыть это! И вот, как только он убедился, что время не остановило течения своего, он тотчас же, подобно Орфею, бросился отыскивать свою Эвридику и в преисподнюю, и на Олимпе. И долгое время пел он свои чарующие песни, пел их и посреди истопников айда, и в передних небожителей, покуда наконец допелся-таки своего...” (4,300). Сохраняя основные сюжетные ходы мифа, Щедрин наполняет его новым содержанием. Соединение, казалось бы, несоединимого (высокой и сниженной лексики), необычайно усиливает экспрессию его стиля.

Наряду с именами мифологических персонажей Щедрин широко использует крылатые слова античного происхождения, сообщающие его текстам оригинальную яркость. Например: “И затем Подгоняйчи-

ков, со всей помадой и новыми брюками. навек канул в Лету”, одну из рек Аида: выпив из нее воды, души умерших забывали всю свою прошлую жизнь, поэтому выражение *кануть в Лету* употребляется в значении “навсегда исчезнуть, быть забытым” (1,105). Комический эффект у Щедрина достигается упоминанием того, в чем именно персонаж канул в Лету.

Крылатое выражение *золотой век* в смысле “счастливая пора, время расцвета искусства, науки в истории какого-либо народа” в применении к обитателям города Глупова звучит двусмысленно: “Это был Василиск Семенович Бородавкин, с которого, собственно, и начинается золотой век Глупова. Страхи рассеялись, урожаи пошли за урожаими, комет не появлялось, а денег развелось такое множество, что даже куры не клевали их... Потому что это были ассигнации” (2,369).

Щедрин не только наполняет крылатые выражения новым содержанием, соответственно условиям российской действительности, но и изменяет их лексический состав, морфологическую и синтаксическую структуру.

Распространяются, как правило, номинативные выражения: *Немезида*, *прокрустово ложе*, *геркулесовы столпы* и т.д. *Немезида* в древнегреческой мифологии – богиня возмездия, карающая за преступления. Щедрин наделяет это собственное имя различными определениями: “быстрая и действительная Немезида” (3,126), “общественная Немезида” (3,150), “государственная Немезида” (7,58). Что собою представляла последняя в России, предельно ясно сказано в цикле “За рубежом”: «Когда я был в школе, то в нашем уголовном законодательстве еще весьма часто упоминалось слово “кнут”. Нужно полагать, что это было очень серьезное орудие государственной Немезиды, потому что оно отпускалось в количестве, не превышавшем 41-го удара, хотя опытный палач, как в то время удостоверяли, мог с трех ударов заколотить человека насмерть» (7,58–59).

По той же схеме трансформирован фразеологизм *прокрустово ложе* (мерка, под которую насильственно подгоняют что-либо, для нее не подходящее): “общественное прокрустово ложе” (3,307), “своего рода прокрустово ложе” (4,37), “прокрустово ложе обуздания” (5,16).

Не меньшие яркость и острота выражения достигаются Щедриным и в тех случаях, когда он варьирует наименее важный из компонентов фразеологизма. Так, крылатое словосочетание *гомерический хохот* трансформируется сатириком в “гомерическую игру” (6,128), олимпийское спокойствие – в “олимпийское равнодушие” (1,496) и “олимпийский характер” (4,237).

Видоизмененные фразеологизмы придают особое звучание тексту, тематически очень далекому от деяний обитателей Олимпа. Весь-

ма характерна в этом отношении сцена игры в карты в доме Иудушки Головлева: “Наконец разыгрывается какая-то гомерическая игра. Иудушка остается дураком с целыми восемью картами на руках, в числе которых козырные туз, король и дама. Поднимается хохот, подтрунивание, и всему этому благосклонно вторит сам Иудушка” (6,128).

Употребляемые в единственном числе словосочетания типа *ахиллесова пята*, *гордиев узел* у Салтыкова-Щедрина порою фигурируют во множественном, что сообщает им социальную остроту. В “Драматическом разговоре в одном явлении” граф заявляет репортеру газеты “И шило бреет”: “Много у нас этих ахиллесовых пят” (7,102), на что тот отвечает: “Положим, что ахиллесовы пяты и сами собой заживут, но ведь это когда-то будет!” (7,104).

Иногда история античного фразеологизма служит писателю отправной точкой для создания язвительной зарисовки российской действительности. Таково крылатое выражение *Авгиевы конюшни*: обширные конюшни царя Элиды были очищены за один день Гераклом, направившим через них реку. Щедрин придает этой истории чисто российский колорит. К Прокопу, одному из героев “Дневника провинциала в Петербурге”, обращается градской голова: “– Знаем, ваше высокородие! знаем мы твою добродетель! Слышали мы, как ты в Ардамате в одну ночь площади от навоза ослобонил! Может, не одну тысячу лет та площадь всякий кал на себя принимала, а ты, гляди-кось, прилетел, да в одни сутки ее, словно девицу непорочную, под венец убрал!” (4,286).

Различные смысловые и структурные изменения крылатых слов античного происхождения у Щедрина придают его стилю дополнительную экспрессию и служат созданию ярких сатирических образов современной писателю действительности.

“Каникула” Вяч. Иванова

А. Г. ГРЕК,

кандидат филологических наук

Стихотворения Вячеслава Иванова “Каникула... Голубизной...” и “Каникула, иль песья бесь...” входят в цикл “Римский дневник 1944 года”. По яркости отразившегося в них образа Рима – это очень “римские” стихи, по точности и выразительности запечатленного в них календарного времени – очень “июльские”.

О времени написания стихотворений свидетельствует слово *Каникула*, близкое к усвоенному русским языком “каникулы” (перерыв в занятиях в учебных заведениях на летнее или праздничное время – Толковый словарь русского языка. Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1934. Т. I. С. 1304), здесь слово *каникула* является русским фонетическим вариантом лат. *canicula*, уменьшительного от *Canis* во втором значении – “созвездие Пса” (Латинско-русский словарь. Под общ. ред. С.И. Соболевского. М., 1949. С. 135). Словарь поясняет: “ранний восход этого созвездия, в середине июля, возвещал наступление *самой знойной поры*” (курсив наш. – А. Г.).

В стихотворении “Каникула... Голубизной...” значение жары, зноя развивается в ближайшем к *каникула* контексте, передающем восприятие горы Монтедженнаро: “*Голубизной Гора блаженного Дженнара Не ворожит: сухого жара Замглилась тусклой пеленой*”. В стихотворении “Каникула, иль песья бесь...” мотивировка *Каникула* объясняется сразу – *песья бесь*, буквальный смысл этого латинского слова – “созвездие Пса”. Второй компонент этого образа – *бесь* – мог возникнуть в результате сближения сочетаний “полуденная жара” и “бес полуденный” (см. Пс. 90: “Не убоишися от страха ночного, от стрелы летящая во дни, от вещи во тме приходящая, от сряцца, и *беса полуденного*”). Во-вторых, здесь употреблено слово *зной*, с которым семантически согласуется слово *воспаленный* в составе сочетания *град... воспаленный*, которое толкуется как “болезненный, сопровождающийся жаром” (Толковый словарь русского языка. Под ред. Ушакова. Т. I. С. 370). В-третьих, значение жары, июльского зноя оказывается связанным в стихотворении с такими образами, как: *Эдем природы, ящерица, камни растреснувшие, ласковый прибой Волны к отлогому песку, терраса отенённая*.

Чтобы рассмотреть особенность поэтического мировосприятия и индивидуального стиля Вяч. Иванова, приведем тексты этих стихо-

творений полностью (цит. по изд.: Иванов Вяч. Собр. соч., Брюссель. 1979. Т. III. С. 621–622; далее – только том и стр.).

10

Каникула ... Голубизной
Гора блаженного Дженнара
Не ворожит: сухого жара
Замглилась тусклой пеленой,
Сквозит из роц Челимонтана.
За Каракалловой стеной
Ковчег белеет Латерана
С иглой Тутмеса выписной.

Вблизи – бальбины остов древний.
И кипарисы, как цари, –
Подсолнечники, пустыри:
Глядит окраина деревней,
Кольцом соседского жилья
Пусть на закат простор застроен, –
Все ж из-за кровель и белья
Я видеть купол удостоен.

29 июля.

11

Каникула, иль песья бесь...
Стадами скучились народы:
Не до приволья, не до моды.
А встарь изнеженную спесь
Она гнала в Эдем природы.
Лишь ящерице любо здесь,
В камнях растреснутых и зное.
Да мне. О ласковом прибое
Волны к отлогому песку
Я не мечтаю в уголку
Моей террасы отенённой,
На град взирая воспалённый.

29 июля.

Сравниваемые стихотворения не только одинаково начинаются, но имеют сходство в последней строке. Это глагольные формы со значением созерцания или зрительного восприятия (*Я видеть купол удостоен* и *На град взирая воспалённый*), они вообще играют существенную роль в поэтическом языке Вяч. Иванова, принадлежащего к на-

турам созерцательного типа, о чем он сам говорит в “Письме к Шарлю дю Босу” (Иванов Вяч. Архивные материалы и исследования. М., 1999. С. 84).

Каким же видит Рим русский поэт, подолгу живший в этом городе в молодости и навсегда обосновавшийся в нем с 1924 года?

В первом из стихотворений образ Рима насыщен топонимическими деталями: от горы блаженного Дженнара – католического священномученика – до купола Святого Петра, главной святыни Рима (см. примеч. к тексту Р.Е. Помирчего в изд.: Иванов Вяч. Стихотворения. Поэмы. Трагедия. СПб., 1995. Кн. 2. С. 354). Между ними располагаются: *Челимонтана* – римская вилла в живописной местности, *Каракаллова стена* – руины терм, т.е. общественных бань, построенных при римском императоре Каракалле, *Латеран* – папский дворец, названный здесь *ковчегом*, *игла Тутмеса* – имеется в виду египетский обелиск базилики ван Джованни, *Бальбина* – древние христианские кладбище и церковь в Риме. Все эти святые и известные места подчеркивают сакральность и царственность Рима. Отсюда и сравнение кипарисов с царями: *И кипарисы, как цари*, и книжная, высокая окраска слов: *Голубизной; Замглилась; Ковчег; остов древний; удостоен; иглой Тутмеса выписной*.

Однако наряду с этим поэт видит и самое обыденное, прозаичное в жизни царственного города: *Подсолнечники, пустыри, окраина*, которая *Глядит ... деревней; Кольцо соседского жилья; закат, кровли* и даже – *белье*. При этом величие священного города нисколько не уменьшается, а обретает бытийную полноту. Стилистически такой образ восприятия Рима подчеркивают имеющие разговорную окраску *Вблизи и Всё ж*.

В стихотворении “Каникула, иль песья бесь...” топонимов совсем нет, если не считать мифологического *Эдем*. В центре внимания другое. Так, уже во второй и третьей строках образ *Стадами скучились народы: Не до приволья, не до моды* связан с впечатлениями от присутствия в городе союзных войск из-за еще не закончившейся войны, которая нарушает сложившийся порядок вещей, меняет привычки, обычаи.

Вся вторая строфа стихотворения противопоставляется первой по ярко выраженной в ней *я-субъектности*: *Лишь ящерице любо здесь, В камнях растреснутых и зное*. Но так увидеть сильную жару города через образ, взятый из природного мира, – образ ящерицы, так всмотреться, чтобы почувствовать, что ей здесь любо, может только *я-субъект*. Присоединительная конструкция *Да мне* прямо обнаруживает его в тексте. Среди других проявлений *я-субъектности* в тексте – местоименные формы: *Я, моей* и глагольная – *мечтаю*.

Чтобы описать “содержание” лирического “я”, необходимо рассмотреть его предикаты и ближайшие смыслы стихотворения. Преди-

катами *я*-субъекта в этом стихотворении являются: *любю (мне)* – одно из слов категории состояния и спрягаемая глагольная форма (*не мечтаю*). К ним примыкает в силу действия общей тенденцией в поэтическом тексте – к сплошной предикативности – и деепричастие *взирая*. Ближайшие смыслы представлены группами второстепенных членов предложения, распространяющих эти предикаты. См. *любю* – где? – *здесь, В камнях растреснутых и зное; не мечтаю* и (опосредованно) *любю* – где? – *в уголку Моей террасы отенённой, На град взирая воспалённый*. Главное и в семантике предикатов, и в распространяющих их обстоятельствах и дополнениях связано с полнотой переживаемого лирическим “я” бытия. Замечательным является отождествление (через однородность и общий предикат *любю*) *я* и *ящерицы* – образ, соединяющий в мифологических представлениях противоположные смыслы воды и огня (см. *Дракон* в: Мифы народов мира. М., 1987. Т. I. С. 394), соотносительных с прохладой, влагой и сильным зноем.

Интересно в связи со смысловой структурой “я” обратить внимание на синтаксис высказывания: *О ласковом прибое Волны к отлогому песку Я не мечтаю в уголку Моей террасы отенённой...*, – где вначале идут притягательные образы водной стихии, а затем, уже после глагола с отрицанием *не мечтаю* следуют образы, описывающие реальную обстановку, в которой находится лирический субъект. Смысловое тождество и контраст, полярность – так в целом можно описать поэтику этого текстового фрагмента.

На то, что в стихотворении 1944 года могли отразиться впечатления автора от римских каникул прежних лет, косвенно указывает биограф поэта О.А. Дешарт, вспоминая июль 1928 года. Тогда Вяч. Иванов приехал в Рим из сырой, туманной и необычно темной для Италии Павии после университетских экзаменов (т.е. в каникулярное в буквальном смысле этого слова в русском языке время). Между тем, «населенники, все, кто мог, – покидали “воспалённый город”», – заканчивает Дешарт, цитируя: *Лишь ящерице люблю здесь, В камнях растреснутых и зное. Да мне* (Иванов Вяч. Указ. соч. Т. I. С. 220, 221).

Особенность этого стихотворения – достаточно высокая частотность атрибутивных сочетаний: *песья бесь; изнеженную спесь; камнях растреснутых о ласковом прибое, отлогому песку, террасы отенённой, град... воспалённый*. Заметно также возрастание, по сравнению с первым стихотворением, лексики, имеющей окраску архаичности или разговорности: *песий* (устар.), *стада* (разг.), *скупчились* (разг.), *встарь* (поэт.), *любю* (устар.), *уголок* (уменьш.), *бесь*, а также фразеологизированные конструкции: *Не до приволья, не до моды*, присоединительная *А встарь, Да мне*. Книжную окраску имеют: *Каникула, Эдем*, а также *град взирая воспалённый*. И во втором стихотворении отношение поэта к Риму благоговейно-почтительное.

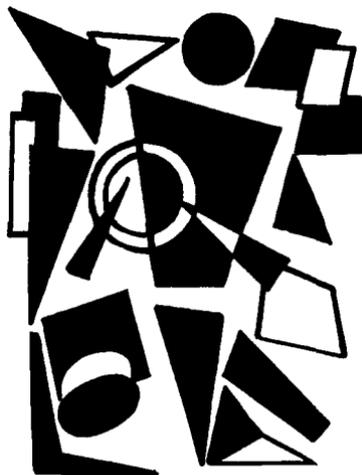
При чтении обоих стихотворений вспоминаются строки из дантовского “Рая”: *Весь этот град, спокойный и блаженный Полн древнею и новою толпою... Взирал, любя, к одной мечте священной... Раз варвары, пришедшие из края... Увидев Рим и как он в блеск убран, Дивились, созерцая величавый Над миром вознесенный Латеран* (Алигери Данте. Божественная Комедия. Часть третья. Рай: Песнь 31. Пер. М. Лозинского. М., “Наука”, 1968).

В цикле “Римские сонеты” Вяч. Иванов еще в 1924 году сказал: *“Приветствую как свод родного дома, Тебя, скитаний пристань, вечный Рим”*. Из рассмотренных стихотворений видно, что поэт чувствовал свою органическую укоренённость в вечном городе.

Анализ смысловой структуры, композиции и языковой стилистики этих стихотворений Вяч. Иванова может быть дополнен замечаниями об их звуковой организации.

Звуковая ткань обоих стихотворений пронизана повторами: *Каникула... Голубизной, Голубизной Гора, Гора... Дженнара, блаженного Дженнара, закат застроен*. Ключевыми звукообразами первого текста выступают *з, ж и р* (см. *Голубизной, Гора блаженного Дженнара не ворожит, жара замгилась, Сквозит, Каракалловой, Латерана, Вблизи, цари, закат, застроен* и др. Во втором тексте обращает на себя внимание контраст двух звукообразов: “влажного” *л* и энергичного *р*: *ласковом... волны... отлогому... уголку, террасы... град... взирая*. Необычно мало здесь характерных для Вяч. Иванова раннего и среднего периодов творчества (см. сб. “Кормчие Звезды”, “Позрачность”, “Сог Ardens”, “Нежная Тайна”) звуковых сгущений консонантных групп, труднопроизносимых сочетаний согласных в словах и на стыках слов: *замгилась, тусклой, роц Челимонтана, закат простор, град взирая* (ср. анализ ярких в этом отношении примеров в нашей статье «Пушкинские звукообразы в “Медном Всаднике” Вяч. Иванова» // Русская речь. 2001. № 3. С. 14). Принцип звуковой организации этих стихотворений можно определить словами самого Вяч. Иванова о пушкинских звукообразах: “стремление не делать нарочито приметным просвечивающий, но как бы внутрь обращенный узор звуковой ткани” (IV, 343).

Луганск, Украина



В. МАЯКОВСКИЙ: ПОЭТ И ПУБЛИКА

*О. А. ЛЕКМАНОВ,
доктор филологических наук*

Важнейший шаг в изучении идиостиля Владимира Маяковского сделал Г.О. Винокур, выделивший два главных начала языка поэта – публичность и разговорность (См.: Винокур Г.О. Маяковский – новатор языка. М., 1943). Концепцию Винокура конкретизировал и развил М.Л. Гаспаров. В частности, он перечислил те черты поэтики Маяковского, которые выводятся из центрального для всего его творчества образа площадного митингового оратора (См.: Гаспаров М.Л. Владимир Маяковский // Очерки истории языка русской поэзии XX века. Опыт описания идиостилей. М., 1995). Получившуюся картину хочется дополнить еще одним наблюдением: в текстах раннего Маяковского описаны три варианта отношения площадного оратора к той толпе, к которой он обращается с “новым словом”.

Первый вариант, собственно говоря, как раз и сводится к предложению оратора выслушать его и научиться делать, как он (“А вы могли бы?”). Два других варианта вступают в силу уже после того, как толпа оратора выслушала, а делать, как он – не захотела (всегдашний случай у Маяковского).

Второй вариант: вы не хотите у меня учиться – значит (потому что), вы – быдло, вам же хуже будет.

Третий вариант: вы не хотите у меня учиться, а я вас все равно люблю и отдам за вас жизнь, буду за вас распят. Легко заметить, что третий вариант подразумевает более или менее осознанное и острое самоотожествление себя с Христом. Второй и третий варианты взаимоотношений с читателем активно разрабатывались поздней Цветаевой, третий – поздним Пастернаком, поэтами разными, но близкими к Маяковскому.

В этой заметке речь далее пойдет о стихотворении Маяковского “Вам!” (1915), которое могло бы послужить идеальной иллюстрацией ко второму из описанных нами вариантов отношения поэта к своим читателям и слушателям.

Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
вычитывать из столбцов газет?!

Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие, нажраться лучше как, –
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?

Если бы он, приведенный на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваете Северянина!

Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре блядям буду
подавать ананасную воду!

За что Маяковский порицает своих читателей и слушателей на этот раз? Сначала (после прочтения первой строфы), кажется, за то, что они смеют наслаждаться мирной жизнью, в то время как их менее везучие соплеменники гниют в окопах. По обыкновению, утрируя, в двух начальных строках поэт методично перечисляет те блага и удовольствия, которые недоступны воюющим: у них нет женщин, чтобы устраивать оргии, они не имеют ванн, их клозеты холодные, а не “теплые”. Именно как антимиитаристское был склонен интерпретировать стихотворение “Вам!” В.Б. Шкловский, писавший в своих воспоминаниях: «“Бродячая собака” была настроена патриотически. Когда Маяковский прочел в ней свои стихи:

Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре б... буду
подавать ананасную воду, –

то какой был визг.

Женщины очень плакали» (Шкловский В.Б. О Маяковском // Шкловский В.Б. Собр. соч.: в 3-х т. Т. 3. М., 1974. С. 64).

Но уже во второй строфе стихотворения “Вам!”, где безликим “многим” противопоставлен конкретный и одновременно – предельно обобщенный “Петров поручик” (ср. у раннего Заболоцкого: “На службу вышли Ивановы В своих штанах и башмаках”), Маяковский, в числе прочих, бросает этим “многим” несколько неожиданный упрек: “Знаете ли вы, бездарные, многие...”

Дальше – больше. В третьей строфе вновь возникают мотивы похоти и обжорства, причем слушатели стихотворения косвенно обвиняются чуть ли не в людоедстве (Маяковский реализует метафору “пушечное мясо”; “Петрова поручика” как скот ведут “на убой”, а затем крупным планом изображается губа, измазанная “в котлете”). Но похоть и обжорство в этой строфе – лишь оправда для куда более тяжкого греха. Слушатели Маяковского потребительски относятся не только к женщинам, еде и войне, они потребительски относятся к поэзии. От поэзии здесь представляет былой друг-соперник Маяковского – Игорь Северянин.

В финальной строфе стихотворения “Вам!” после лейтмотивного упоминания про “баб да блюда” поэт, что называется, “во весь голос” выкрикивает свой заветный тезис, который в переводе со стихотворного языка на прозаический звучит примерно так: я не хочу, чтобы моя поэзия и самая моя жизнь служила для вас источником удовольствия. Чтобы вы “напевали” или читали мои стихи, как вычитываете “из столбцов газет” “о представленных к Георгию”. Чем угождать “вам”, я лучше буду угождать тем, кто хотя бы не лицемерит, а главное, – не зарится на поэзию, довольствуясь “ананасной водой”.

Так стихотворение о войне предстает в итоге стихотворением о назначении поэта.



Профессиональная тайна Сарафанова

С. В. МОЛЧАНОВА

В августе этого года исполняется 65 лет со дня рождения Александра Вампилова, оставившего глубокий след в отечественной драматургии. Стилистика его текстов постоянно привлекает внимание исследователей (см., в частности, “Русская речь”. 1993. № 3). Диалоги в его пьесах удивительно легки и органичны, короткие реплики придают им стремительность. Обилие многоточий организует паузы между репликами, образует “воздушные прослойки”, позволяя исполнителям играть то, что не написано, “между строк”.

Характеры “лепятся” автором не только с помощью драматических поступков, психологических деталей и нюансов. Для их создания Вампилов использует словесные ряды, выявляющие главные психологические и социальные черты личности. Нередко они бывают заяв-

лены драматургом при первом же появлении персонажа на сцене. Акцентированный первый выход действующего лица на сцену именуют старым театральным словом “антрэ”. Персонаж, что называется, подают.

Рассмотрим, как, избегая излишней театральности, но не без некоторой таинственности, Вампилов строит антрэ Сарафанова – одного из двух главных героев комедии “Старший сын”. Выход заключает в себе мотивы, связующие его с дальнейшим текстом пьесы, и определяет в главных чертах развитие как внешнего, так и внутреннего драматического действия. Приведем эту короткую сцену почти полностью.

С о с е д . Здравствуйте, Андрей Григорьевич.

С а р а ф а н о в . Добрый вечер.

С о с е д (язвительно). С работы?

С а р а ф а н о в . Что?... (Поспешно.) Да-да... С работы...

С о с е д (с насмешкой). С работы?... (Укоризненно.) Ах, Андрей Григорьевич, не нравится мне ваша новая профессия. <...>

С о с е д . Подождите <...>

Сарафанов останавливается.

(Указывает на кларнет.) Кого проводили?

С а р а ф а н о в . То есть?

С о с е д . Кто помер, спрашиваю.

Сарафанов (*испуганно*). Тсс!... Тише!

Сосед прикрывает рот рукой, быстро кивает.

(*С упреком*). Ну что же вы, ведь я же вас просил. Не дай бог, мои услышат...

С о с е д . Ладно, ладно... (*Шепотом*.) Кого хоронили?

С а р а ф а н о в (*шепотом*). Человека.

С о с е д (*шепотом*). Молодого?.. Старого?..

С а р а ф а н о в . Средних лет...

Сосед долго и сокрушенно качает головой.

Извините меня, пойду домой. Продрог я что-то...

С о с е д . Нет, Андрей Григорьевич, не нравится мне ваша новая профессия.

Обратим внимание на опорные слова этого диалога и окаймляющий рефрен. После обычного приветствия сосед язвительно спрашивает Сарафанова – пожилого музыканта – *о работе*. Это слово станет ключевым не только в этом эпизоде, то есть в минимальном контексте, но и в контексте всей пьесы. Таким образом, мы будем говорить о словесном ряде, определяющем, с одной стороны, профессиональный и социальный статус Сарафанова-старшего, а с другой – его внутреннюю духовную установку.

Позиция соседа, которая так ясно заявлена в представленной сцене, характеризует общее отношение к положению Сарафанова в се-

мье и обществе. Для близких Андрея Григорьевича – сына, дочери, бывшей жены, будущего зятя Кудимова – профессия и работа оказываются мерилем человека. Тут невольно вспоминается известная фраза Сергея Усова, героя пьесы В. Розова “Традиционный сбор”: “Неужели вывеска прежде всего? А кому же просто человек нужен?”

В начале второго действия шутка со старшим сыном зашла достаточно далеко и поставила мнимого сына Володю Бусыгина, оказавшегося в положении ложном и щекотливом, перед необходимостью серьезного выбора. Происходит важный разговор между ним и Ниной, дочерью Сарафанова. Она объясняет: “Вот уже полгода, как он *не работает* в филармонии”; “*Работал* в кинотеатре, а недавно *перешел* в клуб железнодорожников. *Играет там на танцах*”. “... Это уже всем давно известно, и только мы – я, Васенька и он – делаем вид, что он все еще в симфоническом оркестре. Это наша семейная *тайна*”. Впрочем, из первоначальной сцены с соседом зритель знает – Сарафанов играет даже не на танцах, а на похоронах, что усиливает дополнительный психологический эффект: родным детям тайна известна не во всей полноте.

Нина цитирует Бусыгину письма своей матери, которая ушла от Сарафанова к серьезному человеку – инженеру. Бывшего мужа она снисходительно именуется “блаженный”. И хотя в ее лексиконе это слово имеет отрицательную окраску, зритель ощущает в нем иной, подлинный смысл, который скрыт от дочери, сына и жены. Нина, комментируя письма, настойчиво употребляет слово “работа”: “*На работе* у него вечно какие-нибудь *сложности*” (курсив наш. – С.М.).

Во втором действии в ключевой сцене узнавания жених Нины, Кудимов, вторит ей: “Где *вы работаете* – для меня не имеет никакого значения”. Его успокаивающая фраза на самом деле обладает потрясающим подтекстом, свидетельствуя о равнодушии Кудимова к будущему тестю и, пожалуй, к людям вообще. В эмоционально напряженном полилоге Сарафанов несколько раз употребляет это слово: “Я должен перед вами сознаться. Вот уже полгода, как я *не работаю* в оркестре”, “*Всякая работа хороша, если она необходима*”. В этой же сцене знакомства с женихом и “разоблачения” Сарафанова рефрен соседа “не нравится мне ваша новая профессия” в несколько измененном виде появляется в репликах Кудимова, человека, чуждого семье Сарафановых. Кудимов неуклюже пытается объясниться: “Нет, вы не подумайте, что я вспомнил об этом потому, что *мне не нравится ваша профессия*”.

Сам Сарафанов совсем иначе относится к своей профессии и к работе вообще. В центральной сцене первого действия – ночной беседе отца и новоиспеченного “старшего сына” – он рассказывает о своем восхождении по ступеням послевоенной профессиональной жизни: “Я служил в артиллерии, а это, знаешь, плохо влияет на слух. (...) Гауби-

ца и кларнет как-никак разные вещи. Вначале я играл на танцах, потом в ресторане, потом возвысился до парков и кинотеатров. Глухота, к счастью, сошла, и, когда в городе появился симфонический оркестр, меня туда приняли...”. Пожалуй, это единственный монолог, где Сарафанов так открывается. В первой части монолога, как видим, ему удастся обойти глагол *работать*, он употребляет традиционные и ситуативные синонимы *служить*, *играть*.

Привыкший к тому, что его считают неудачником, Сарафанов боится и теперь остаться непонятым, поэтому во второй части этого же монолога он подыскивает нужные слова для решающего признания: “Если ты думаешь, что твой отец полностью отказался от идеалов своей юности, то ты ошибаешься. Зачерстветь, покрыться плесенью, раствориться в суете – нет, нет, никогда”. Глагол *раствориться* восходит к *творити*.

С новым сыном, родство с которым оказывается не по крови, а по духу, Сарафанов раскрывается в своих лучших устремлениях: “Я сочиняю. (Садится.) Каждый человек рождается творцом, каждый в своем деле и каждый по мере своих сил и возможностей должен творить...”. Вместо стертого словосочетания “должен работать” появилось возвышенное “должен творить”. Сама интрига о мнимом старшем сыне никогда бы не прошла с такими рациональными людьми, как, например, сосед или Кудимов. Сарафанов – человек творческий, и ему было легко поверить и принять предлагаемые молодыми вертопрахами обстоятельства. Не случайно в сцене своего разоблачения он настойчиво повторяет жениху: “Я артист. Вы могли видеть меня на эстраде”; “Возможно, в филармонии”; “Значит, в театре”.

Антрэ Сарафанова “сцепляется” с начальной сценой пьесы глаголом *проводили*. Только что девушки благодарили Бусыгина и Сильву: “Спасибо, что проводили. Здесь мы дойдем сами”. Неудачное провожание – первое, оно же и последнее – разочаровало молодых людей, особенно Сильву, похоронило их надежду на веселый ночлег. Но в диалоге соседа и Сарафанова слово *проводили* употреблено в смысле “проводить в последний путь”. Можно представить, с какой иронией и игривостью произносит сосед вопросительное “Кого проводили?”. В последующих репликах соседа глаголу *проводить* дан синоним *хоронить*, а между двумя нейтральными глаголами как гвоздь торчит грубовато-просторечное *помер*.

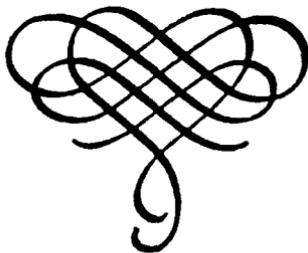
Так слово *проводили* работает на “близком расстоянии”, но мотив проводов проходит через всю пьесу. Собирается с будущим мужем на Сахалин Нина Сарафанова, младший Сарафанов – Васенька “едет в тайгу на стройку”, “бежит из дому, потому что у него несчастная любовь”. Накануне грустных для Сарафанова-старшего проводов происходит “настоящее чудо” – является “старший сын” и самим своим явлением и окончательным разоблачением в финале отменяет, по край-

ней мере, часть этих предстоящих вокзальных проводов. В его отношениях с “мнимой сестрой” Ниной прочерчивается совсем иная линия развития.

Но, вероятно, важнейшими в пьесе так и остаются заключительные реплики диалога Андрея Григорьевича с соседом в первом действии. Для Сарафанова не представляют интереса социальные характеристики человека. Вспомним, как он отвечает на вопрос “Кого хоронили?” – “Человека”. Когда мы узнаем об оратории Сарафанова “Все люди – братья”, которую он пишет с завидным упорством, то понимаем, что человек сам по себе, его нравственные качества важны Сарафанову.

Когда произойдет окончательное разоблачение Володи Бусыгина, Сарафанов воскликнет: “Но я не верю! Не хочу верить!”; “Ты – настоящий Сарафанов! Мой сын! И притом любимый сын!”. Объединяя Володю с Ниной и Васенькой, он заключает: “Вы мои дети, потому что я люблю вас”. Главный талант Сарафанова-старшего – умение любить, его настоящая профессия – просто человек. Не случайно в телевизионной версии этой пьесы, в двухсерийном фильме “Старший сын” роль Андрея Григорьевича Сарафанова исполнял Евгений Леонов. Актер, которого любили все.





И еще раз о *властях предержажих*

Ю. Л. ВОРОТНИКОВ,
член-корреспондент РАН

Я точно помню дату, когда чаша моего, так сказать, филологического терпения переполнилась: это произошло 23 декабря 1992 года. Утром я услышал из уст диктора российского радио примерно следующее: “Но основная выгода *власть предержажих* – это отсутствие свободы слова, гласности”. А вечером того же дня симпатичный ведущий “Вестей” с обаятельной улыбкой заявил с телеэкрана: “Впрочем, баланс интересов прессы и *власть предержажих* возможен”. Я вспомнил, сколько раз за последнее время приходилось слышать или читать об этих самых “*власть предержажих*”, как на недавней научной конференции в Академии наук помянул их с трибуны маститый академик – и внутренне вскричал: “Помилуйте, ну сколько же можно?! Почему же Александр Исаевич Солженицын каждый день Даля читает, а наши дикторы и журналисты даже и в Ожегова не заглядывают?” А что им открыть, например, 23-е издание этого словаря на странице 578 и прочитайте: “*предержажий*, -ая, -ее (*устар.*): 1) власти предержажие – лица, облеченные властью; 2) *власть предержажая* – высшая власть”. Практически то же толкование находим и в “Словаре русского языка в 4-х томах: “*Устар.* предержажие власти – лица, облеченные властью; органы власти. *Предержажая* власть – высшая правительственная власть” (Изд. 2-е. Т. III. М., 1984. С. 365).

Ну и что же это значит, спросите вы? А то и значит, что слово *предержажий* в современном русском языке устарелое и встречается только в составе двух фразеологизированных, то есть устойчивых, сочетаний; есть *власти* (какие?) *предержажие*, есть *власть* (какая?) *предержажая*, но нет никаких *предержажих* (что?) *власть*.

Внутренне побушевав и посетовав по поводу того, что так мало людей, даже по профессии обязанных говорить на нормированном русском языке, считают словари своими настольными книгами, я по-

остыл и задумался, отчего так распространилась искаженная форма этого фразеологизма?

Результатом моих размышлений стала небольшая статья “*Власть предержажие* или *власти предержажие?*”, которую я отнес в самый, на мой взгляд, подходящий журнал – “Журналист”. Там мою статью одобрили, приняли и... не опубликовали. Напечатана она была в журнале “Наука и жизнь” (1993. № 2. С. 52–53). Потом я еще раз обращался к этой теме и опубликовал тезисы доклада “Из истории библеизмов в русском языке” в Материалах Международной научной конференции “Перевод Библии в литературах народов России, стран СНГ и Балтии” (М., 1999). Но, как оказалось, на этом все не закончилось. Приблизительно в это же время на страницах “Независимой газеты” возникла целая дискуссия по поводу интересующего нас выражения.

В разделе этой газеты “Почта” 14 февраля 1998 г. было опубликовано письмо старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Е.Ю. Ваниной, в котором она упрекала всех, пишущих *власти предержажие, властям предержажим*. «А ведь правильно, – пишет автор письма, – “власть предержажие”, то есть “власть держажие”, “власть” – объект, поэтому всегда ставится в винительном падеже (...) Вряд ли нужно доказывать, что непрофессионализм и элементарная неграмотность несовместимы со статусом серьезного издания, на который претендует ваша газета». Редакция газеты ответила, что она “принимает замечания к сведению и приносит извинения читателям”. Таким образом, редакция вступила в число многочисленных сторонников варианта *власть предержажие*.

История эта имела продолжение. Уже через неделю в читательской почте “Независимой газеты” появилась заметка двух крупных российских филологов Е.А. Земской и М.С. Гринберга “*Власть предержажие* или *власти предержажие?*”. Ссылаясь на словари русского языка и приводя иные веские доводы, ученые доказывали, что редакция поторопилась с извинениями, что все же правильно говорить и писать *власти предержажие*.

Казалось бы, авторитет Е.А. Земской и М.С. Гринберга мог поставить точку в этой дискуссии. Однако этого не произошло. В “Независимой газете” от 29 мая 1999 года было опубликовано достаточно резкое письмо В.Г. Андреева под заголовком «Еще раз о “властях предержажих”». Автор, сам сторонник варианта *власть предержажие*, пишет: «Несколько раз я звонил в “НГ”, просил, а потом умолял сотрудников редакции обратить внимание на это словосочетание. Однако эта оплошность (вариант *власти предержажие*. – Ю.В.) повторяется с завидным постоянством вновь и вновь. В связи с этим у меня есть предложение – повесить над столами редакторов, корректоров и корреспондентов вашей газеты небольшой плакат следующего содержания:

В словосочетании “власть предержажие” первое слово (власть) не имеет множественного числа и не склоняется!».

Надо сказать, редакция совету автора не последовала. Более того, ответила вполне определенно: «К сожалению, неправильное словосочетание “власть предержажие” все еще проникает в газету. Корректорам газеты следует безжалостно изгонять его с газетной полосы. А г-ну Андрееву мы рекомендовали бы следовать нормам русского языка и пользоваться словосочетаниями “предержажие власти” и “предержажая власть”».

Вопрос, вроде бы, был закрыт. Но тут произошло самое интересное. Случайно прочитав дискуссию в “Независимой газете”, на нее откликнулся наш крупнейший ученый-языковед, член-корреспондент РАН В.А. Дыбо, и откликнулся статьей, которая, на мой взгляд, является самым интересным из всего, что до сего дня написано по поводу *властей предержажих*. Статья эта («Еще раз о “властях предержажих”») пока не опубликована, но В.А. Дыбо любезно позволил мне сослаться на ее рукопись, за что я ему чрезвычайно признателен.

Итак, давайте еще раз поразмышляем: как правильно говорить, или, точнее выражаясь, как следует говорить: *власти предержажие* или *власть предержажие*? И почему столь многие предпочитают вариант *власть предержажие*?

Я, как и Е.А. Земская и М.С. Гринберг, полагаю, что первой причиной является контаминация этого выражения с очень близким по значению и форме устойчивым сочетанием *власть имущие* (те, кто имеет власть). Отсюда и осмысление выражения *власти предержажие* как *власть предержажие* – те, кто держит власть.

Надо сказать, что В.А. Дыбо считает гипотезу о контаминации этих двух выражений ошибочной. Он полагает: “Внутренняя форма глагола *предержать* абсолютно прозрачна, семантика диктуется этой внутренней формой: держать, иметь, владеть” (В.А. Дыбо. Еще раз о “властях предержажих”. Рукопись. С. 3). Он совершенно справедливо пишет: “При ближайшем рассмотрении она (проблема правильности или неправильности одного из вариантов интересующего нас выражения. – Ю.В.) оказывается настолько тесно связанной с историей русского и церковнославянского языков, что современное употребление указанных форм рискует оказаться необъясненным без рассмотрения этих моментов их истории” (Там же. С. 2). Давайте, действительно, обратимся к истории языка.

В самом деле, в соответствии с внутренней формой глагол *предержати* в древнерусском языке имел одним из своих значений “держать”. Об этом пишет И.И. Срезневский (Материалы для словаря древнерусского языка. Т. II. СПб., 1895. С. 1643). Это же значение дает и “Словарь русского языка XI–XVII вв.”. Здесь можно найти примеры употребления этого глагола в самом прямом, конкретном значении

“держатъ, удерживать, сдерживать руками”, “держатъ, поддерживать что-то”: *человек прудержим тремя мужи* (т.е. его держали, удерживали три человека); *столпи толсти прудержаще* (т.е. держали, поддерживали) *комару* (Т. 18. М., 1992. С. 188).

Было у этого глагола и еще одно значение: “обладать властью, силой, преимуществом”, то есть, иными словами, “господствовать”. В этом значении глагол *прудержати* употребляется, естественно, без прямого дополнения, например: “Се ныне прудържи железо”, то есть “ныне обладает властью, господствует железо” (Там же. С. 188). Образованное от этого глагола существительное *прудержание* имело два значения: “область, владения” (второе значение), но прежде всего “господство, владычество”, например: “нечьстис живуштее въ чловецехъ и диаволе прудържание” (т.е. “господство, владычество дьявола”) (Указ. соч. С. 187).

Однако наиболее часто в древнерусском языке глагол *прудержати* употреблялся в значении “владеть, держать в своих руках, в своей власти”. Картотека Древнерусского словаря, хранящаяся в Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН, содержит выписки из различных памятников древнерусской письменности, где можно встретить такие выражения, как *прудържащю вѣсю власть, прудържа царство, прудержащю монастырь и даже прудържати село* или *прудържащи вся в дому* (орфография памятников приближена к современной). А в Великих Четых Минеях можно прочитать об одном человеке *отъ прудържащихъ власть*. Как видим, сказано почти совсем так, как говорит большинство современных дикторов. Что же, правильно они говорят? Все же нет, неправильно. И вот почему. Нет в современном русском языке глагола *прудержать*, не употреблялся он уже и в XIX веке, поэтому и причастие *прудержащий* не может сейчас свободно употребляться.

В.А. Дыбо, впрочем, замечает: “Сам глагол *прудержать* не чужд русскому языку, в несвязанном употреблении отмечен в диалектах, см. Словарь русских народных говоров, вып. № 31, стр. 76”. Ну что же, в таком случае свободное, несвязанное употребление причастия *прудержащий* можно считать диалектизмом, но никак не литературной нормой.

А главная причина в том, что выражение *власти прудержащие* – не просто устойчивое, оно относится к разряду так называемых “крылатых слов”, иначе говоря – является цитатой. Об этом можно узнать из книги Н.С. Ашукина и М.Г. Ашукиной “Крылатые слова” (М., 1988. С. 53). Здесь вы прочтаете, что выражение *власти прудержащие* – цитата из новозаветного текста – Послания апостола Павла к римлянам. Глава XIII этого Послания начинается призывом к христианам в гражданской жизни “проявлять свое благоговение перед Богом в повиновении установленным от Бога властям” (А.П. Лопухин. Тол-

ковая Библия. Изд. 2-е. Стокгольм. 1987. Т. 3. С. 502). В Библии это место читается так: “Всяка душа властем предрержащим да повинуется”. Эту же цитату при толковании слова *предрержащий* приводит в своем словаре и Владимир Даль.

Ну что же, не очень многие из наших современников читали апостола Павла. Но если нечитавшие захотят меня проверить, возьмут, например, Библию издания Московской патриархии 1990 года и найдут в ней на странице 1240 Послание к римлянам, то они будут, наверное, несколько удивлены. Здесь написано вот что: “Всякая душа да будет покорна высшим властям...” (13, 1). Где же *власти предрержащие*? Не удивляйтесь. В руках у вас перевод Библии на русский язык, а интересующее нас выражение – из текста церковнославянского.

Но еще большее недоумение может охватить дотошного читателя, захотевшего добраться до корней и обратившегося к наиболее ранним славянским переводам Послания к римлянам. В так называемом “Христинопольском” Апостоле XII века он прочитает: “Всяка душа владыкамъ превладающимъ да повинуется”. Эти же слова встречаются во многих списках Апостола XIV–XVII веков. В несколько ином виде вошли они и в первую полную древнерусскую так называемую Геннадиевскую Библию 1409 года, созданную в Новгороде при дворе архиепископа Геннадия. Здесь интересующее нас место читается так: “Всяка душа владыкам превладущам да повинуется”.

Этот вариант перевода, очевидно, довольно долго бытовал на Руси, так как отражен в первом послании Ивана Грозного к князю Курбскому: “Почто и апостола Павла презрел еси, яко же рече: Всяка душа владыкам предвладующим да повинуется” (В.А. Дыбо. Указ. соч. С. 6). По мнению Г. Воскресенского, автора фундаментального исследования “Древний славянский перевод Апостола и его судьбы до XV века” (М., 1879), именно вариант *владыкамъ превладающимъ* (или *превладующимъ*) восходит, скорее всего, к переводу Апостола, выполненному во второй половине IX века первоучителями славян Кириллом и Мефодием.

Есть и другие варианты перевода: *властелемъ вышнимъ* (*властель* по-древнерусски значит “властитель”), *властемъ вышнимъ* (почти как в современном русском переводе), не вполне понятное (может, возникшее в результате описки) *властелемъ бывшимъ* и др.

Возникает естественный вопрос, почему переводчики это место Послания к римлянам перевели по-разному: то как *владыкамъ превладающимъ* (*превладующимъ*), то как *властелемъ* (*властемъ*) *вышнимъ*. Для того, чтобы на него ответить, обратимся к греческому оригиналу. В греческом тексте здесь стоит сочетание, где первое слово – это дательный падеж множественного числа существительного со значением “власть, могущество”, которое в греческом языке могло обозначать не только функцию, но и “социальное установление”, то

есть органы власти. Понятно, что переводчики могли употребить при его переводе и существительные *владыкамъ*, и *властемъ*, и *властелемъ*. Все они достаточно точно соответствуют значению слова, использованного в оригинале. Второе слово в интересующем нас словосочетании – это дательный падеж множественного числа причастия действительного залога настоящего времени от глагола, одно из значений которого в греческом языке – “возвышаться, превосходить, превышать”. Поэтому перевод этого места на русский язык, действительно, может иметь вид *вышнимъ*, что мы и находим в ряде церковнославянских переводов Апостола.

Однако авторитетный словарь “A Greek-English Lexicon”, составленный Г.Дж. Лидделом и Р. Скоттом, приводит среди метафорических значений интересующего нас греческого глагола также и значение “prevail” то есть “преобладать, господствовать, превалировать” (Т. 2. С. 1863). Церковнославянским переводом этого глагола в таком значении может быть глагол *превласти* (“властвовать, управлять”), который указывает и “Словарь древнерусского языка” И.И. Срезневского (Т. 2. Ч. 2. М., 1989. С. 1621), и “Словарь русского языка XI–XVII вв.” (Т. 18. М., 1992. С. 155). Правда, оба они в качестве иллюстраций приводят именно перевод начала 13-й главы Послания к римлянам и как бы проделывают операцию обратной трансформации причастия *превладующимъ* в инфинитив. Очевидно, что глагол *превласти* не был широко распространен в древнерусском (да и церковнославянском) языке. Но не менее очевидно, что вариант перевода интересующего нас выражения *владыкамъ превладающимъ* (*превладующимъ*) также вполне адекватен оригинальному греческому тексту. Более того, он даже предпочтительнее, так как сохраняет отглагольный характер переводимой греческой формы.

Интересно отметить, что в так называемой Вульгате, латинском переводе Библии, сделанном в конце IV – начале V века Иеронимом, интересующее нас место переведено в виде *potestatibus sublimioribus*: “властям высшим”. *Sublimioribus* – это дательный падеж множественного числа сравнительной степени латинского прилагательного *sublimis* со значениями “высокий, возвышенный, вздымающийся”. Это прилагательное соотносится с глаголом *sublimo* – “высоко поднимать, вздымать, воздевать, возвышать, высоко возносить” (И.Х. Дворецкий. Латинско-русский словарь. М., 1976. С. 965). Иероним нашел вариант перевода, отражающий оттенки значения “высоко находящийся, высший” и “возвышающийся, высоко вознесенный”, т.е. “господствующий”.

Иной вариант перевода интересующего нас места встречается в так называемом Чудовом списке Нового Завета, который хранился в кремлевском Чудовом монастыре. Здесь оно переведено так: *власти предержацимъ*. Чудовский список содержал перевод новозаветных

книг митрополита Алексия (ок. 1293–1378), впоследствии регента при малолетнем Дмитрие Донском. Алексей сделал свой перевод во время пребывания в Константинополе около 1355 года с греческого списка, отличавшегося, как полагает Г. Воскресенский, от известных ранее на Руси. Г. Воскресенский считает, что древнейший, восходящий к Кириллу и Мефодию перевод выделяется “точностью, верностью подлиннику и ясностью при большей или меньшей свободе переложения” (Указ. соч. С. 232), отличительным же признаком перевода Алексия служит “буквальная близость его к греческому подлинному тексту” (Указ. соч. С. 253). Однако в данном случае буквальной близости перевода к греческому оригиналу мы не находим. Почему же Алексей, прекрасно знавший и греческий, и церковнославянский языки, перевел это место как *власти предержащим*?

В.А. Дыбо объясняет это следующим образом: «Дело здесь, вероятно, в слове *власть*, которое в церковнославянском языке не означало “власть как социальное установление”, а лишь “власть как действие, функцию” (а также как территорию, сохранилось в русском *волость*). Если бы Алексей это место перевел как **Всякая душа властемъ высшим да повинуется*, оно славянином воспринималось так, как мы бы восприняли фразу “пусть всякая душа высшим господам (или владычествам) повинуется”. Вероятно, поэтому переводчики предпочли заменить здесь абстракцию “власть как социальное установление” на понятное конкретное воплощение власти – “властвующих лиц”» (В.А. Дыбо. Указ. соч. С. 9).

Такое объяснение представляется небесспорным. Словари древнерусского языка фиксируют у множественного числа *власти* значения и “органы власти”, то есть именно “социальные установления”, и “лица, облеченные властью” (см.: Словарь русского языка XI–XVII вв. Т. 2. С. 222; Словарь древнерусского языка XI–XVI вв. Т. 1. С. 446). Так что вряд ли выражение *властемъ высшим* древнерусский читатель середины XIV века (время перевода Алексия) понял бы как-либо превратно.

Более интересен другой вопрос: почему Алексей употребил форму *предержащимъ* вместо использовавшейся ранее формы *преобладающимъ* (*превладующимъ*). Причиной тому могла послужить редкость употребления в древнерусском языке глагола *превласти*. Поэтому, возможно, Алексей использовал причастие от более распространенного глагола *предержати*, который, так же, как и глагол *предержати*, имеет значение “властвовать, господствовать”, и к тому же является полной калькой греческого глагола.

А вот вопрос, почему Алексей употребил выражение *власти предержащимъ* вместо ожидаемого *властемъ предержащимъ*, остается без ответа. Возможно, он просто имел какой-то иной, не дошедший до нас список Апостола.

Вариант перевода *властемъ предрержащимъ* вошел в изданную Иваном Федоровым в 1580–1581 годах первую полную печатную Библию (так называемую Острожскую Библию). В.А. Дыбо высказывает очень интересную и обоснованную гипотезу, что автором этого варианта был не сам Иван Федоров, а Максим Грек, который в 1520 году перевел с греческого языка Толковый апостол (В.А. Дыбо. Указ. соч. С. 8). Вариант *властемъ предрержащимъ* сохранился во всех позднейших печатных изданиях книг Священного Писания на церковнославянском языке.

В XVIII веке выражение *власти предрержащие* (и вариант *власть предрержащая*) достаточно часто встречается у различных авторов и со ссылкой на источник цитаты, и просто в качестве устойчивого сочетания. Нередко оно и у писателей XIX века, например у Тургенева, Мамина-Сибиряка, Н. Успенского, Чехова и многих других. Словари отмечают у выражения *власти предрержащие* в произведениях XIX–XX вв. иронический оттенок значения. Это, действительно, так. Например: “так как, если говорить о документах, я вооружен одним только паспортом и ничем другим, то возможны неприятные столкновения с предрержащими властями, но это беда проходящая” (Чехов. Письмо А.С. Суворину, 15 апреля 1890); “Болотовский рассадник просвещения не составлял предмета особенной заботы ни для крестьян, ни для местных предрержащих властей” (Н. Успенский. Новое место). То же можно сказать и о варианте *власть предрержащая*, например: “Времена были самые либеральные, и предрержащая власть даже снисходительно заигрывала с протестовавшими элементами” (Мамин-Сибиряк. Именинник). Однако в речи персонажей это выражение могло быть лишено иронического оттенка, например: “Сей акт (он ударил рукою по лежавшим на столе бумагам) составлен мною, и предрержащие власти в свидетели приглашены” (Тургенев. Степной кобель Лир).

Иронический оттенок при употреблении выражения *власти предрержащие* (и *власть предрержащая*) возник вполне закономерно: это словосочетание разделило судьбу большого слоя церковнославянской лексики, стилистическая оценка которой в XVIII–XIX вв. постепенно менялась. И если ранее (например, у М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина) церковнославянизмы были принадлежностью высокого стиля, то к концу XIX века они уже рассматривались как свидетельство искусственной, официально напыщенной речи и оценивались иронически отрицательно.

Надо сказать, что классики позволяли себе некоторые вольности в обращении с интересующим нас выражением. Так, у К. Федина встречается вариант *рука предрержащая*: “Народ требует руки предрержащей” (Федин. Первые радости). Использовалась и стяженная форма фразеологизма: «Я догадался, что, вероятно, и старуха и эта красави-

ца бояться каких-нибудь утеснений со стороны “предержажших” и поспешил их успокоить» (Куприн. Олеся). В этом примере любопытно отметить то, что автор берет в кавычки причастие *предержажщие*, лишний раз подчеркивая его цитатный характер. Вообще можно сказать, что в XVIII и XIX веках каждый грамотный, да и неграмотный, православный знал, откуда взяты эти слова, потому что их можно было не только прочесть в Библии, но и услышать в церкви во время богослужения.

В XX веке, особенно во 2-й его половине, источник цитаты подзабыли. “Вольное” обращение с устойчивым сочетанием *власть предержажщие* в прессе 90-х годов стало делом обычным. Вот примеры таких вольностей только из одной, причем весьма солидной, газеты: “Подсустились власть предержажщие очень вовремя” (Известия. 1992. 23 марта); “Провокации и перестройки могут возникнуть в любую минуту и без инициирования власть предержажших” (Известия. 1992. 12 июня).

Интересно, что вариант *власть предержажщие* часто берется авторами в кавычки. Показателен следующий пример: «В умные головы сразу полезли разные мысли, например о наследственной, по-видимому, дремучести и необразованности “власть предержажших на Руси”» (Моск. комс. 1992. 12 июня). По мнению Вадима Поэгли, автора материала “Великолепный Ельцин”, откуда взято это высказывание, в русском языке существует устойчивое словосочетание “*власть предержажщие на Руси*”, которое, судя по поставленным автором кавычкам, представляет собой цитату из какого-то авторитетного источника. Вот уж, воистину, уместно употребить меткое русское словцо: “Слышал звон, да не знает, где он”. То же можно сказать и об Арнольде Пушкаре, который в своей заметке “Он хотел нагнать на нас страх” пишет следующее: «В целом же, если Воронцов со своей навязчивой идеей физического уничтожения коммунистов, уничтожения “власть держажших” хотел стать героем дня, то он просчитался» (Известия. 1992. 24 фев.). Автор изобрел свой фразеологизм *власть держажщие*, попытавшись при помощи кавычек придать ему авторитет общеизвестной цитаты.

Так нужно ли нам проявлять “творческий подход” к фразеологизму *власти предержажщие*, анализировать “внутреннюю форму” глагола *предержажть* и, в соответствии со своими лингвистическими выводами, употреблять это устойчивое выражение в таком виде, какой лично нам представляется соответствующим нормам русского языка? Убежден, что делать этого не надо. Прежде всего нам необходимо вспомнить источник этого фразеологизма и не забывать, что перед нами цитата. А цитаты искажать – это совсем не лучший способ “образованность показать”. Не следует в данном случае проявлять “творческий подход” и по другим причинам. Во-первых, потому, что оши-

бочным с точки зрения истории как русского, так и церковнославянского языка выражение *власти предержавшие* считать, на мой взгляд, нельзя. А во-вторых, оно уже прочно вошло в русский литературный язык. Что же, мы будем доказывать Тургеневу, Чехову и другим классикам их неправоту (тем более что они правы)? Слишком легко и просто в последние годы мы соглашаемся рвать нити, связывающие нас с нашим культурным наследием, в том числе и запечатленным в языке. А это совсем не так безопасно для наших душ, как может показаться на первый взгляд.



НЕ... – слитно или раздельно?

*Е. В. БЕШЕНКОВА,
кандидат филологических наук*

Правила слитного или раздельного написания НЕ довольно сложны, они основываются на множестве критериев, которые при письме бывает трудно учесть. Поэтому в написании одних и тех же слов в практически одинаковых контекстах наблюдается разнობой. Однако количество таких слов не слишком велико, как может показаться.

Говоря о частице НЕ, необходимо помнить, что существуют две частицы: противопоставительная и общеотрицательная (Крейдлин Г.Е., Падучева Е.В. Взаимодействие ассоциативных связей и актуального членения в предложении с союзом *а*//НТИ. 1974. Сер. 2. № 9. С. 32–37). Противопоставительная частица (*не...*, *а*) пишется всегда раздельно, а написание общеотрицательной частицы-приставки зависит от роли в актуальном членении предложения. С теоретической точки зрения наименее вероятно появление слов с вариативным написанием в позиции подлежащего и обстоятельств образа действия; наиболее вероятной синтаксической позицией слов с вариативным написанием является позиция сказуемого (см. подробнее Бешенкова Е.В. Лингвистическое обоснование правила слитного/раздельного написания НЕ // Вестник Тамб. ун-та. Вып. 3. Тамбов, 2000. С. 93–103). Наблюдение над практикой письма подтверждает эти теоретические предположения, хотя существуют и колебания в теоретически непредсказуемых контекстах. В данной статье мы рассмотрим поведение только одной группы слов, выступающих в позиции сказуемого, – это наречия.

Среди так называемых наречий-предикативов выделяются две группы: наречия на *-о* и остальные. Написание наречий не на *-о* определяется словарями. Вне зависимости от контекста, от того отрицаем

мы или утверждаем, акцентируем мы внимание на отрицании или нет, вне зависимости от любых других условий мы определяем написание по словарю: *невозмогу, не в порядке, не в праве, невпроворот, не все-ррез, не против, не прочь* и т.д.

Правописание наречий на *-о* подчиняется общему правилу, согласно которому раздельное написание диктуется усиленным отрицанием (*отнюдь не, далеко не, вовсе не*), сюда можно добавить и *разве не, чуть ли не, едва ли не*, а также отрицательные местоимения и частицу *ни*). Слитное же написание определяется неупотребимостью без НЕ, присутствием суффикса *-им-* и наличием контекста (*очень, весьма* и другие наречия степени). Назовем эти контексты очевидными. Вне этих контекстов написание зависит от акцента на отрицании или утверждении противоположного понятия. Распространенным приемом для определения этого акцента является подстановка слова, близкого по значению, но без НЕ.

Анализ материала показывает, что, во-первых, среди наречий-предикативов выделяются три группы:

1. наречия, которые пишутся только раздельно;
2. наречия, которые вне очевидных контекстов пишутся только слитно;
3. и наречия, которые пишутся двояко вне очевидных контекстов.

Во-вторых, написания во многих случаях не объясняются ни правилами, ни словарями. В словарях практически не отмечаются наречия первой группы, за редкими исключениями, а наречия второй и третьей групп не дифференцируются. В орфографических словарях звездочка при словах, допускающих слитное написание, обозначает, что они могут писаться и раздельно (при этом раздельное написание может быть при противопоставительном значении НЕ либо в очевидных контекстах, а также и вне этих контекстов). Таким образом, словари очень мало помогают в определении написания.

К первой группе относятся, например, *не больно* (Мне *не больно* садиться на корточки), *не грустно* (Тебе *не грустно* расставаться с другом?), *не зазорно, не стыдно* (Мне *не стыдно* было бы выступить с этим номером в столице; У такого воина *не зазорно* и поучиться), *не здорово* (*Не здорово*, что так все случилось), *не исключено* (*Не исключено*, что его рукой водили российские настроения той поры), *не обидно* (*И не обидно* тебе всю жизнь в шестерках бегать?), *не поздно* (еще *не поздно*), *не похоже* (*Не похоже*, чтобы он испугался), *не пусто* (На книжке у меня тоже *не пусто*), *не реально* (*Не реально* рассчитывать на его выздоровление), *не скучно* (При каких условиях было бы тебе *не скучно*?), *не смешно* (Все это до жути *не смешно*), *не совестно* (Ей было двадцать пять лет. Она была в тех годах, когда волочиться за ней было *не совестно*, а влюбиться в нее стало трудно).

Отметим, что иногда те же наречия в позиции обстоятельства могут писаться и слитно. Например: Он *необидно* рассмеялся; он *нерельно* мыслит.

Ко второй группе относятся такие наречия, как *неверно* (Психологически *неверно* было бы ее наказать. Обращаться к его героям за разъяснениями *неверно*), *невозможно* (И представить себе такое *невозможно*. Ослушаться было *невозможно*), *некрасиво* (*Некрасиво* так поступать с беззащитными людьми), *неловко* (Мне было *неловко* смотреть на Анну Ивановну. Ему *неудобно* и *неловко*: как же оставить товарища одного), *немило* (Я даже полагаю, что кой-кому *немило*, что мы прошли, страдая, через войны горнило), *необычно* (Было *необычно* слышать от него так поспешно и неуверенно произнесенные слова), *неосмотрительно* (*неосмотрительно* было ругать женщин), *неосторожно* (*Неосторожно* с его стороны приходиться к нам в столь поздний час), *непозволительно* (Врачу *непозволительно* так говорить), *непривычно* (*Непривычно* видеть вас столь возбужденным), *непорядочно* (Слишком *непорядочно* было так вдруг измениться), *неприлично* (*Неприлично* светскому человеку ходить туда. Оставаться в крепости было *неприлично* офицеру), *неправильно* (Было бы *неправильно* не отметить некоторые недостатки), *неприятно* (Мне всегда *неприятно*, когда переходит дорогу погребальная процессия), *нетрудно* (*Нетрудно* было догадаться, что хозяева дома англичане), *неудобно* (Мне *неудобно* делать ему замечания).

Правописание наречий этих групп проверялось не только по текстам и словарям, но и по результатам тестов для студентов-филологов.

Заметим, что распределение по этим группам слов-синонимов или слов, близких по значению, а иногда даже разных значений одного и того же слова весьма прихотливо. Так, в разные группы могут входить слова-синонимы и антонимы: *нетрудно* – *не сложно* – *непросто/не просто* – *нелегко/не легко*, *необычно* – *не странно*, *неудобно* – *не стыдно*, что противоречит общепринятому и в правилах оговариваемому приему подстановки. Так, в предложении “Мне *неудобно* ему об этом напомнить” *неудобно* можно заменить на *стыдно*, что трактуется как свидетельство в пользу слитного написания, хотя в предложении “Мне *не стыдно* показаться ему в этом наряде” сказуемое можно заменить на *прилично*.

Иногда в разные группы входят разные значения одного слова. Например, наречие (**не**) **вредно** имеет два значения: “без вреда для здоровья” (**не вредно**) и “желательно, хорошо бы” (**невредно**). В первом значении оно пишется раздельно (Вы решается утверждать, что курить *не вредно*. А *не вредно* принимать это лекарство так долго?), как и его антоним *не полезно* (*Не полезно* есть много витаминов), хотя и в том и в другом случае можно поставить антоним, слово без НЕ.

Во втором значении наречие *невредно* пишется слитно (Закажи и ступай, а я посижу один, это иногда *невредно*. *Невредно* было бы прогуляться. Иногда *невредно* остановиться и оглянуться, что с тобой происходит).

Наибольший интерес представляет третья группа наречий. По правилам, эти наречия должны писаться слитно при “утверждении отрицательного признака” и раздельно “при отрицании положительного признака”. Однако анализ реальных текстов показал, что для абсолютного большинства наречий-предикативов пишущий не реализует эту системную возможность. Приведем примеры реального употребления некоторых предикатов. Заметим сразу, что в позиции обстоятельств, если она допустима для конкретных лексем, эти наречия пишутся только слитно.

Наречие **неважно** в значении “посредственно, плохо” может выступать и в роли обстоятельства и в роли сказуемого, но всегда пишется слитно (Он чувствует себя *неважно*. Дела у меня обстоят *неважно*. Он здесь ведет себя *неважно* – от работы уклоняется. *Неважно* обстояли у нас дела с арифметикой. У меня *неважно* с почками).

В значении “не значительно, не величественно” и “не имеет большого значения” наречие выступает в роли обстоятельства и пишется то слитно, то раздельно.

Неважно/не важно: Мне *неважно*, что ты об этом думаешь. Мне *не важно*, придет он или нет. Обратимся к рассмотрению иных объектов, *неважно*, вместе с их качествами или в отвлечении от них. *Неважно*, кто достал ключ. “Это как раз *неважно*, – возразил журналист. – Важно, что ты здесь.” Они дети, и *неважно*, что они плохо разбираются в литературе. Ну, ладно, это *не важно*, ты только не плачь. “Это важно? – спросил Виктор. – Предположим, что *не важно*”. Не знаю, да это и *не важно*. “Вы не позволите отложить ваш визит? – О, это *не важно*”. *Неважно*, что они думают, важно, что они делают. Сейчас это *не важно*. К завтраку он опоздал, но это было *не важно*, есть он не мог.

Наречие **невесело** в роли обстоятельства вне очевидных контекстов пишется слитно (Он усмехнулся *невесело*). В роли сказуемого возможно и слитное и раздельное написание: **невесело/не весело** (*Не весело* думать, что другого выхода нет. Я сообщал своей сестрице, что мне *невесело* в Багрове. До вас добираться *невесело*, кочки, ухабины, ели бессменные).

Для (**не**) **известно** словари вводят еще один контекст для слитного написания:

1. в конструкции *известно кто (что, куда, откуда, почему и т.п.)*: Он охотно прочел *известно откуда* взятый рассказ. Сказал *известно кому*. Огромной пустой землей владел, *известно почему*, один человек. Она переехала *известно куда*. С надеждой, что

разрушение *неизвестно* как обернется созиданием. Автобусы ходят *неизвестно по какому* расписанию. Они были на машине, *неизвестно кому* принадлежащей. Еще несколько образов я поймал в фокус держащегося, скрипящего кинопроектора, но и они были памятниками *неизвестно чему*. И это тоже часть какого-то неведомого, *неизвестно кем* составленного плана.

2. при наличии глагола-связки: И *неизвестно было*, есть ли среди них дух Кору.

Однако это не разрешает всех вопросов, и в остальных случаях остается вариативное написание:

Неизвестно/не известно: И кому это нужно, *неизвестно*. Не воображайте, будто мне *неизвестно*, какого они сословия. И мне *неизвестно*, где он живет. *Неизвестно*, куда все это девается, зато известно, что жизнь движется именно в таком направлении. И *неизвестно*, сколько бы еще продолжалась его карьера пастуха, если бы не трагический случай. Нельзя сказать, сколько товара потребуется, потому что *неизвестно*, сколько уже сбыто. *Неизвестно*, что он мог показать на суде, какие еще аферы раскрывать. Сие чувство *неизвестно* мне. *Не известно*, сколько чеченских бандитов прибавилось к московским за последний год. Сколько просидит московский цирк в норвежской глубинке – *не известно*. Что произошло затем с подводным кораблем, *не известно*. Какую часть прибыли удалось скрыть, *не известно*. Где именно держит он эти деньги, *не известно*. До чего договорились – *не известно*. Еще *не известно*, какой колер получится в результате. Еще *не известно*, чем дело закончится в судейском присутствии. Однако до сих пор *не известно*, понравилось ли женщинам такое изобретение. Как иметь дело с банком, если *не известно*, будет ли он существовать через год. Пожалуй, *неизвестно*, что можно знать докторше, а что нельзя.

Не интересно/неинтересно: *Не интересно* лететь, когда ты не можешь управлять самолетом. *Не интересно* играть, зная исход. *Неинтересно* слушать, как попусту спорят. Нет, так *неинтересно*. Нам *неинтересно* видеть, как разбивается актер, упав с трапеции. *Неинтересно* знать, что случится дальше.

В позиции обстоятельства – только **неинтересно** (Он и рассказывает *неинтересно*).

Не обязательно/необязательно: И *не обязательно* начинать с “Деревни”. К тому же покупать еще одну лошадь *необязательно*. А это совсем *не обязательно* связано с успехом. Совсем *не обязательно*, что я привезу гран-при. Они на все лады убеждали Федю, что жить ему в каком-то там санатории совсем *необязательно* – пусть приезжает скорее в Стожары. Это стихотворение вызывает множество ассоциаций, в том числе – современных и политических, но не только и *не обязательно* политических. Прослушиванием занимаются *необязательно*

тельно майоры. *Не обязательно*, чтобы решение было принято немедленно. Технику *не обязательно* понимать. Могу беседовать о чем угодно. И даже *не обязательно* о пресловутой выемке документов. Впрочем, вам это знать *не обязательно*. Значит, все *не обязательно*, выбор приблизителен. Он возразил, что студент *не обязательно* человек интеллигентный.

Не плохо/неплохо: Для начала *неплохо*. *Неплохо* бы контролировать свои эмоции. Может быть и *не плохо*, что он туда не поехал. А *неплохо* бы погулять под дождем. Ну и *неплохо* быть уверенным, что мы не теряем времени даром. Если мужчина маклерством занимается, то он маклер, а если женщина, то *неплохо* бы назвать ее маклюрой. *Не плохо*, что мы уже сейчас добились таких результатов. Это было бы совсем *неплохо*. Мне совсем *неплохо* от того, что я сильный. Это будет *неплохо*.

В роли обстоятельства только **неплохо** (Он *неплохо* играет в футбол).

Непонятно/не понятно: Мне было *непонятно*, откуда могли взяться такие фантазии. Мне это *непонятно*. *Непонятно* и нечисто. Так почему же они встретились опять? – *Непонятно*. Неужели тебе *непонятно*? Совершенно *не понятно*, с какого потолка Минтруд взял эти цифры. *Непонятно*, что ими руководило в данном вопросе. Однако *не понятно*, почему капитан эсминца не сделал ничего, чтобы предотвратить катастрофу. Многое у нас *непонятно*. Неужели *непонятно*, что “Нет ответов” – это не ответ?

В роли обстоятельства только **непонятно** (Он *непонятно* объясняет).

Не просто/непросто: Однако и в теории слова все *непросто*. *Не просто* найти начало рассказа, еще сложнее найти подходящие слова для конца. Преодолеть прежние привычки было *не просто*. Мы встречались в таких местах, о которых *непросто* забыть. В таком возрасте это еще *не просто* осознать. У него все *непросто*, все надуманно. Для него это очень *непросто* – не рассудочно знать, но чувствовать. Человеку со здоровым аппетитом *не просто* прожить двадцать четыре дня на пятьдесят шиллингов. *Непросто* было превратить центр любви и заботы в секретное заведение.

Не страшно/нестрашно: Выскажусь, выложу все до конца, а тогда и помирать *не страшно*. Мне уже *не страшно*. *Не страшно*, что у него поднялась температура. Я с трудом сдержал улыбку – это *не страшно*. Он в ярости, но мне *не страшно*. Печень немного увеличена, желтушка новорожденных, *нестрашно*.

Неудивительно/не удивительно: *Неудивительно*, что он поставил такой вопрос. *Не удивительно*, что западный мир чувствует себя неспокойной. И *неудивительно*, что ее строки пересекаются с памятными строками Пушкина. *Неудивительно*, что страна ослабела. *Неудивительно* поэтому, кто уже с конца XVIII века начинается разложе-

ние морали. И *неудивительно*, что в средневековье крестьян считали полуживотными. Но что он в этом преуспел, *неудивительно*. И *неудивительно*, потому что такого прекрасного звучания я нигде больше не слышал. *Неудивительно*, что победил сильнейший.

Не ясно/неясно: *Неясно*, сказала она это всерьез или в шутку. Сегодня *не ясно*, кто может проводить линию президента. А многим просто *не ясно*, много это или мало. Сейчас вообще *неясно*, кто может следить за порядком в домах. Чем он руководствовался – так и *не ясно*. По-прежнему *неясно*, как ему удалось дойти до финала. Неужто тебе *не ясно*? Однако и Францу было совершенно *неясно*, о чем этот взгляд вопрошает. Что они делают на этой трибуне, совершенно *не ясно*. Одного похоронили с плачем и причитаниями, другого – неизвестно где и *неясно* каким образом.

Совершенно особый критерий вводится словарями для наречия-предикатива (**не**) **заметно**. Только слитное написание рекомендуется перед союзом *чтобы*: *Незаметно*, чтобы мальчики изменились. *Что-то незаметно*, чтобы кто-нибудь тут подметал. По его лицу *незаметно*, чтобы у него болели зубы. Акимов пил много, но *незаметно* было, чтобы он хмелел.

Перед союзами *как* и *что* встречается только раздельное написание: *Не заметно*, что я замывала рукав. Следов лисы совсем *не заметно*.

Для наречия (**не**)**мудрено** лингвисты также вводят дополнительные критерии. Так, словарь Ушакова отмечает слитное написание при дополнении-инфинитиве, словарь Ожегова–Шведовой дает только раздельное написание в роли сказуемого “не мудрено, что”, Орфоэпический словарь же, напротив, рекомендует только слитное написание. Реально в тексте встречается и то и другое написание.

Немудрено/не мудрено: *Немудрено* заметить подобные ошибки. Так воспитаньем, слава богу, у нас *немудрено* блеснуть. И *немудрено*, что он остался. *Не мудрено*, что они не слышали стука раньше. *Немудрено*, что он отказался от этого предложения. Пушкина нет в списке книг, доставленных Чернышевскому в крепость, да и *немудрено*. Вы сами знаете давно, что Вас любить *немудрено*. *Не мудрено*, что он не выдержал такого удара. *Не мудрено*, что уже к полудню весь Заволжск прознал о событии. Я не знаю этого знака. – *Немудрено*.

Однако для некоторых наречий-предикативов можно сказать, что предлагаемое правило различие “утверждение отрицательного признака” или “отрицание положительного признака” реализуется.

Нелегко/не легко – наречие в роли сказуемого и обстоятельства: “Вы думаете легко отдаться вполне чему бы то ни было? – *Не легко*”. Легко ли устоять одинокому человеку? – да, *нелегко*.

При этом не в контексте ответа встречается преимущественно слитное написание: Тебе *нелегко* будет сообщить им это известие.

Этот вопрос часто задают, но ответить на него *нелегко*. Этот закон *нелегко* понять. Быть добросовестным, как это просто и как *нелегко*. Есть вещи, которые простить *нелегко*. Бить бекасов, поднимающихся в кустах, очень *нелегко*. Нам *нелегко* приходилось. Пробраться к нему оказалось *нелегко*. Бурю чувств, которую она подняла, было *нелегко* успокоить. *Нелегко* его было уговорить. Определить сущность русского пейзажа русскому глазу *нелегко*. Это был человек крупный, с обветренным лицом и как бы застывшими чертами, *нелегко* выдававшими душевные движения. Какова реальная обстановка, сказать *нелегко*. Отговорить их от такого намерения *нелегко*.

Встречающиеся раздельные написания можно считать ошибочными (*не легко* на душе, когда чувствуешь себя виновным. Понятно, как *не легко* было заметить, что льющаяся в таком разнообразии речь может быть разложена на несколько элементов).

Аналогично ведут себя следующие наречия:

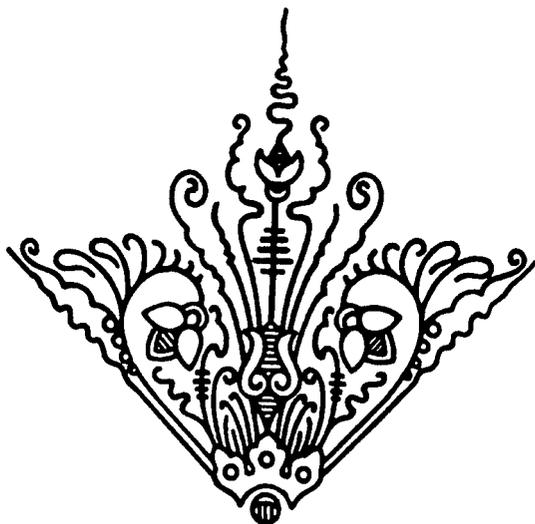
Невыгодно/не выгодно: Им *не выгодно* считать, что белое – это черное. Хотя они и в большой цене, а держать в них капитал *невыгодно*. На базаре торговать *невыгодно*. *Невыгодно* уезжать немедленно.

Недостаточно/не достаточно: Гоголевскую формулу *недостаточно* объяснить как указание на идейность. Он нашел, что сухопутного войска под Бари *недостаточно*. *Недостаточно* констатировать, что ранневизантийскому образу мира свойственна приглушенность динамики мистического историзма. Везли с собой кокосы и хлебное дерево, но здесь для них тепла *недостаточно*. Ему слова *не достаточно*, чтобы он послушался. Его заявления абсолютно *не достаточно* для восстановления мира. Даже ее тщеславия *недостаточно*, чтобы поверить ему. А для этого моего прихода совершенно *недостаточно*. Разве видеть самому *недостаточно*? Одних законов *недостаточно*. Нельзя быть истинным поэтом, не работая постоянно для расширения своих познаний, а их у него явно *недостаточно*. С него достаточно – а с меня *не достаточно*? Это хорошо, но для настоящей литературы *недостаточно*. Человеку *недостаточно* факта события: ему надо знать зачем.

Не конституционно/неконституционно. При логическом ударе на отрицании пишется раздельно: Проводить такие выборы *не конституционно*. При отсутствии такого акцента возможно и слитное написание: Проводить такие выборы *неконституционно*.

С теоретической точки зрения вполне объяснимы, например, слитное написание в случае превращения частицы *НЕ* в приставку при существительных в позиции подлежащего и раздельное написание тех же существительных с *НЕ* в позиции предиката (сказуемого). Это объясняет и наши наблюдения о слитном написании наречий с *НЕ* в позиции обстоятельства и вариативном написании тех же наречий в позиции предикатов.

Приведенный материал дает основание для корректировки правила в части правописания наречий. Во-первых, необходимо для всех частей речи разграничивать написание противопоставительной частицы и общеотрицательной частицы-приставки. Во-вторых, следует отдельно формулировать правила для наречий-предикатов и наречий, выступающих в роли обстоятельств. В-третьих, следует признать, что правописание наречий-предикатов вне очевидных контекстов определяется в словарном порядке. В-четвертых, в словаре необходимо помещать информацию только о правописании вне очевидных контекстов. Существующие в узусе колебания в написании наречий-предикатов вне очевидных контекстов можно охватить правилом, допускающим вариантное написание. Так, для приведенных примеров можно предложить следующую формулировку информации в словаре: звездочкой означать, что вне очевидного контекста предпочтительно слитное написание, раздельное написание возможно в случае маркированного (усиленного) акцента на отрицании.



Дружеский – дружественный – дружный

*В. И. КРАСНЫХ,
кандидат филологических наук*

Все три указанных паронима были впервые зарегистрированы толковыми словарями в начале XVIII века, т.е. почти триста лет назад. Первоначально у них отмечалось по одному лексическому значению, хотя у прилагательного *дружный* указывался и оттенок значения. В Словаре В.И. Даля все три слова рассматриваются в одном словарном гнезде с заголовочным словом *Друг*. Вот какое толкование дается там этим прилагательным. *Дружеский* – свойственный другу, друзьям, им принадлежащий; *дружественный* – дружелюбный, на дружеском расположении основанный; *дружный* – приятельский, мирный, согласный, на любви и доброжелательстве основанный; совместный, соединенно действующий. Посмотрим, как толкуются и употребляются эти прилагательные в современном русском языке.

Практически все современные толковые словари выделяют два значения у прилагательного *дружеский*. В отношении первого значения словари либо просто дают отсылки к словам *друг*, *дружба*, либо предлагают следующее объяснение: “Относящийся к другу, друзьям”. В толковании второго значения также наблюдаются некоторые вари-

анты: “Проникнутый симпатией, расположением к кому-л.” (Словарь Ожегова и Шведовой); “Проникнутый чувствами дружбы, выражающий их” (Словарь Лопатиных); “Выражающий дружбу, расположение” (МАС).

К сожалению, словари дают очень мало иллюстративных примеров, подтверждающих правомерность выделения именно двух таких значений. Дело в том, что при анализе большого количества текстов с этими словами возникает вопрос, каким образом “привязать” то или иное именное словосочетание к первому или второму значению прилагательного *дружеский*. Например, возьмем словосочетание *дружеская беседа*. Его вполне можно использовать для иллюстрации не только первого, но и второго значения, поскольку легко представить себе ситуацию, когда в поезде едут два незнакомых человека, которые начинают разговаривать друг с другом, проникаются взаимной симпатией, после чего их беседа становится дружеской, хотя они и не являются друзьями. Аналогично: можно испытывать *дружеские чувства* не только к друзьям, но и к коллегам, соседям и хорошим знакомым, которые вам симпатичны; точно так же *дружеский совет* может исходить не обязательно от друга, но и от просто расположенного к вам человека, возможно, более зрелого и готового поделиться с вами своим жизненным опытом.

Все это свидетельствует о том, что граница между указанными значениями не является строгой и имеет весьма условный характер. Исходя из этого, мы считаем более целесообразным объединить эти два значения, и вот какое толкование предлагается в этом случае: “Относящийся к другу, друзьям, дружбе; свойственный друзьям, проникнутый дружелюбием, симпатией (обычно для характеристики отношений между отдельными людьми)”. При таком подходе проблема распределения иллюстративных речений по значениям полностью снимается.

В современном русском языке прилагательное *дружеский* (в отличие от *дружественный*) является весьма употребительным. Анализ многочисленных примеров (в основном из художественной литературы последних лет) позволяет весьма полно очертить круг лексической сочетаемости этого паронима с существительными. В этот круг входят прежде всего такие неодушевленные существительные: *компания, вечеринка, обед, ужин, застолье, встреча, беседа, разговор, просьба, забота, помощь, услуга, поддержка, близость, откровенность, похвала, фамильярность, письмо, переписка, общение, круг, тон, вид, жест, совет, обстановка, атмосфера, взгляд, улыбка, рукопожатие, прикосновение, поцелуй, шутка, отношения, связи, контакты, чувства, намерения, внимание, расположение, сочувствие, привет, приветствие, побуждения, пожелания* и т.п.

Вместе с прилагательным и соответствующими глаголами они образуют многочисленные глагольно-именные словосочетания: *пригла-*

сить кого-л. на дружескую вечеринку, проводить время в дружеском кругу, вести дружескую беседу с кем-л., проявить дружескую заботу о ком-л., обратиться к кому-л. с дружеской просьбой, предложить кому-л. дружескую помощь, оказать кому-л. дружескую услугу, испытывать к кому-л. дружеские чувства, установить с кем-л. дружеские отношения, поддерживать с кем-л. дружескую переписку, высказать кому-л. дружеские пожелания, дать кому-л. дружеский совет, руководствоваться дружескими побуждениями, обсудить что-л. в дружеской обстановке, обменяться с кем-л. дружескими рукопожатиями, сделать что-л. с дружескими намерениями и т.д. Проиллюстрируем сказанное примерами из художественной литературы:

“После института наши пути разошлись, но мы продолжали поддерживать дружеские отношения” (М. Серова. Всем назло); “В дружеском общении Смокнутоновский оказался легким, занятым, совершенно не амбициозным человеком” (О. Аросева. Без грима); “О вас он (Сергей) поговорить хотел, в теплой дружеской обстановке” (Т. Полякова. Я – ваши неприятности); “Он (Мишук) мог написать рассказ о прорастании травы. Его тянуло к тишине и дружеским беседам” (К. Паустовский. Морская привычка); “Спустился он (Комаров) явно с дружескими намерениями” (А. Квинов. Страхочный вариант); “Тогда научилась я превыше всего ценить это свободное человеческое общение, дружеское, веселое застолье” (О. Аросева. Без грима); “Он (Колокольников) ответил на дружеское рукопожатие...” (С. Высоцкий. Анонимный заказчик); “В конструкторском бюро его называли сокращенно, с оттенком дружеской фамильярности – Граф” (И. Гофф. Не верь зеркалам); “Можно было рассчитывать на дружеское приветствие Горышина” (С. Довлатов. Чемодан).

Перейдем к рассмотрению прилагательного *дружественный*, не получившего столь широкого распространения, как его пароним *дружеский*. В течение длительного времени оно, вероятно, в той или иной мере конкурировало с прилагательным *дружеский* и употреблялось также преимущественно в сфере личных отношений между людьми. Однако с течением времени между этими паронимами происходит, говоря образно, некое разделение “сфер влияния” – прилагательное *дружественный* все больше и больше переключается на “обслуживание” сферы официальных (преимущественно межгосударственных) отношений. Вполне естественно, что эта тенденция получает отражение и в толковых словарях. Так, в Словаре Ушакова (1935 г.) дается следующее толкование прилагательному *дружественный*: “Дружеский, дружелюбный. Дружелюбный тон. // Взаимно благожелательный, основанный на дружбе (преимущественно о государствах и отношениях между ними). Дружественные нации. Дружественная нам держава.”

Толкование этого слова, предложенное Д.Н. Ушаковым, благополучно перешло и в другие толковые словари. Правда, оттенок значе-

ния (“взаимно благожелательный, основанный на дружбе”), выделенный Д.Н. Ушаковым, получил при этом “статус” самостоятельного значения. Что же касается формулировки другого значения, то оно или полностью сохраняется в том же виде (“дружеский, дружелюбный”), или слегка видоизменяется (“выражающий дружбу; дружеский, дружелюбный”), что, естественно, не меняет сути дела. При таком подходе фактически ставится знак равенства между этим значением слова *дружественный* и вторым значением его паронима *дружеский* (“выражающий дружбу, расположение” или “проникнутый чувствами дружбы, выражающий их”), т.е. эти слова рассматриваются как синонимы, что уже далеко не соответствует действительности.

На самом деле, как нам представляется, в настоящее время осталось очень мало существительных, которые сочетаются с паронимом *дружественный* во втором значении. Иллюстративные примеры, приводимые словарями, относятся в основном к прошлому и не отражают современного словоупотребления, а в ряде случаев носят просто искусственный характер. Так, в МАС для иллюстрации этого значения приводятся две цитаты из художественной литературы. Первая – из произведения Гоголя “Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем”: “Из ваших слов... я никак не вижу *дружественного* ко мне *расположения*”. Вторая – из “Поднятой целины” М. Шолохова: “[Дед Шукарь] почёл себя близким знакомым Давыдова и обращался с ним ... с *дружественной фамильярностью*”.

Вероятно, сейчас мы употребили бы в этих случаях прилагательное *дружеский*: дружеское расположение, дружеская фамильярность (пример из современной литературы со словосочетанием *дружеская фамильярность* мы приводили выше). Аналогичным образом и в словосочетаниях *дружественный совет*, *дружественная откровенность*, *дружественное рукопожатие*, призванных иллюстрировать это же значение, употребление прилагательного *дружественный* вместо *дружеский* также выглядит устарелым или искусственным. Таким образом, напрашивается вывод: выделение второго значения у прилагательного *дружественный* становится теперь излишним, избыточным, не соответствующим современной речи.

В связи с этим представляется более целесообразным, как и в случае с паронимом *дружеский*, дать обобщенное толкование прилагательному *дружественный*: “Характеризующийся взаимопониманием, доверием и доброжелательностью (обычно о государствах, странах, народах и отношениях между ними)”. В круг существительных, сочетающихся с этим прилагательным, входят прежде всего такие слова: *государство*, *страна*, *народ*, *отношения*, *связи*, *политика*, *визит*, *встреча*, *обстановка*, *атмосфера*, *послание*, *характер*, *тон*, *шаг* (в знач.: “действие, поступок”), *акт*.

Вместе с прилагательным *дружественный* и соответствующими глаголами они образуют следующие широкоупотребительные (по существу, клишированные) глагольно-именные словосочетания и предложения: *проводить дружественную политику, развивать дружественные отношения, укреплять дружественные связи, осуществлять дружественный визит, направить дружественное послание, предпринять дружественные шаги; встреча президентов носила дружественный характер, переговоры проходили в дружественной атмосфере* и т.п.

Подобные клишированные выражения постоянно заполняют газетные и журнальные полосы, звучат по радио и телевидению. Все они, естественно, касаются исключительно официальной стороны нашей жизни, прежде всего сферы межгосударственных отношений. Поэтому не случайно, что нам не встретилось ни одного примера с паронимом *дружественный* в художественной литературе – ведь в этом случае речь обычно идет о межличностных отношениях на бытовом уровне, а для их характеристики употребляется слово *дружеский*. Следовательно, именно в этой плоскости проходит в настоящее время линия “водораздела” между рассматриваемыми паронимами, что, в свою очередь, еще раз подтверждает правомерность предлагаемого нами толкования этих двух прилагательных.

Тем не менее в отдельных случаях (как своеобразная дань прошлой взаимозаменяемости этих слов) могут употребляться как бы синонимичные, на первый взгляд, словосочетания: *дружеские отношения – дружественные отношения, дружеские связи – дружественные связи, дружеская обстановка – дружественная обстановка*. На самом же деле эти конструкции фактически уже являются паронимическими, поскольку в первом случае (при употреблении прилагательного *дружеский*) имеются в виду отношения между друзьями или близкими, симпатизирующими друг другу людьми, а во втором случае (при употреблении прилагательного *дружественный*) – официальные отношения между государствами, должностными лицами, представителями общественных организаций, деловых и научных кругов и т.п.

Что же касается третьего члена рассматриваемого паронимического ряда – прилагательного *дружный*, то его употребление, по нашему мнению, не вызывает каких-либо затруднений с точки зрения разграничения с другими членами паронимического ряда, поскольку его значения и круг сочетаемости остаются стабильными на протяжении многих лет. Мы считаем целесообразным выделить три значения этого паронима, хотя некоторые словари вообще не указывают третьего значения (Словарь Ожегова и Шведовой, Словарь Лопатиных) или же дают его в качестве оттенка второго значения (БАС, МАС):

1. Связанный дружбой, взаимным согласием (*дружная семья, компания, команда, бригада; дружный коллектив, класс; дружные ребята*).

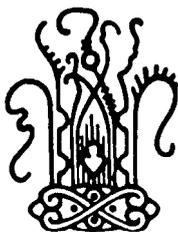
2. Происходящий одновременно, согласованный; слаженный (*дружная работа; дружный смех, хохот, крик, лай, протест, отпор, огонь, залп; дружное пение; дружные усилия, аплодисменты*).

3. Бурно, быстро возникающий, протекающий (*дружная весна, оттепель; дружное таяние снегов; дружные всходы*).

Как видим, с прилагательным *дружный* сочетается весьма ограниченный круг существительных. Приведем ряд примеров:

“Я с некоторым недоверием относился к женщинам. Но все же втайне мечтал о *дружной семье*” (Профиль. 1999. № 2); “Оба были общительны, и за это время у них сложилась общая *дружная компания...*” (Домашний очаг. 1998. Дек.); “Тут все засмеялись *дружным, довольным смехом* и сели за стол” (Л. Петрушевская. Свой круг); “Ривьер бросился на Поля, но *дружный крик* рыбаков остановил его...” (К. Паустовский. Сардинки из Одьерна); “*Весна* шла *дружная*, состояние в природе менялось не по дням, а по часам...” (В. Солоухин. Фотоэтюды).

Итак, мы рассмотрели основные особенности функционирования паронимов *дружеский, дружественный* и *дружный*. Подводя итоги, необходимо еще раз подчеркнуть, что прилагательное *дружеский* “обслуживает” исключительно сферу межличностных отношений на бытовом уровне, в то время как за прилагательным *дружественный* все более закрепляется сфера официальных, преимущественно межгосударственных отношений. Это противопоставление находит отражение и в предлагаемом нами толковании значений этих паронимов. Что же касается паронима *дружный*, то у него каких-либо семантических сдвигов и изменения круга лексической сочетаемости с существительными не наблюдается.



О СИСТЕМНОМ ОПИСАНИИ ПОНЯТИЯ “СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ФИГУРА”

*А. П. СКОВОРОДНИКОВ,
доктор филологических наук*

В сфере современного образования (среднего общего, среднего специального и высшего, особенно – филологического) все более заметную роль начинают играть риторика и преподавание гуманитарных и других дисциплин на коммуникативной (то есть, по сути дела, риторической) основе. Причем особую значимость приобретает элокуция – раздел риторики, “в котором рассматриваются средства и приемы словесного выражения замысла” (Волоков А.А. Курс русской риторики. М., 2001. С. 280).

Понятие стилистической фигуры (фигуры речи) является одним из центральных понятий элокуции. Между тем в риторической и – шире – филологической литературе нет единой точки зрения на природу и классификацию стилистических фигур. Все многообразие их определений можно свести к широкому и узкому пониманию рассматриваемого явления. При широком взгляде на природу стилистических фигур к ним относят любые языковые средства создания и усиления выразительности речи. В таком случае границы между такими понятиями, как фигура, троп, прием (риторический, стилистический, художественный, литературный и т.д.) стираются и становятся достаточно неопределенными (См., например: Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика: Курс лекций и Словарь риторических фигур. Ростов-н/Д, 1994 и второе издание этой книги под названием “Общая риторика: Курс лекций; Словарь риторических приемов”. Ростов-н/Д, 1999).

При узком понимании стилистическими фигурами называются “синтагматически образуемые средства выразительности” (Скробнев Ю.М. Фигуры речи // Русский язык. Энциклопедия. М., 1997. С. 591). Такое

понимание стилистической фигуры становится более определенным, если объединить его с точкой зрения, согласно которой стилистическая фигура является результатом сознательного и мотивированного интенцией (речевым намерением) субъекта речи и конситуацией высказывания нарушения либо (а) языковой нормы, либо (б) ее нейтрального варианта, либо (в) нормы речевой, имеющей вероятностно-статистический характер. Например:

а) “Именно на студенческой скамье надо вложить в душу будущего словесника ту влюбленность в язык и литературу, ту одержимость, ту умение сопереживать художнику, которые он потом понесет в школу. Нельзя допустить, чтобы педагог-словесник *работал мимо сердца ученика*” (Л. Ошанин). В выделенной нами части высказывания наблюдается отклонение от лексико-грамматической нормы, так как по правилам русской грамматики предлог *мимо* употребляется с глаголами перемещения в пространстве (*идти, бежать, ехать* и т.д.), а глагол *работать* не относится к этой группе глаголов.

б) “...Мишка ни на шаг не отстает от нее: *мать в погреб и он за ней, мать на кухню – и он следом*” (М. Шолохов). Здесь выделенная часть текста представляет собой цепочку двусоставных эллиптических предложений с незамещенными синтаксическими позициями глаголов-сказуемых. Такие синтаксические конструкции демонстрируют стилистически значимое отклонение от нейтрального варианта (“нейтральной ступени”) синтаксической нормы – полного двусоставного предложения.

в) «Шесть парадоксов советской системы:

Нет безработицы, но *никто не работает*.

Никто не работает, но растет *производительность труда*.

Растет производительность труда, но в *магазинах пусто*.

В магазинах пусто, но в *домах кое-что есть*.

В домах кое-что есть, но *все недовольны*.

Все недовольны, но единогласно голосуют “за”».

(Книжное обозрение. 1991. № 48).

Представленные в этом высказывании избыточность и упорядоченность дискурса являются отклонением от обычной (среднестатистической) структуры текста.

Стилистические фигуры в вышеуказанном понимании (стилистика значимые, осуществляемые, в первую очередь, в синтагматическом (горизонтальном) контексте, отклонения от языковых норм, их нейтральных вариантов или норм речевых коррелируют с тропами, которые представляют собой стилистически значимые, осуществляемые, в первую очередь, в парадигматическом (ассоциативном, вертикальном) контексте отклонения от лексико-семантических и грамматико-семантических норм (Ср., например: Никитина С.Е., Васильева Н.В. Экспериментальный системный толковый словарь стилистических

терминов. Принципы составления и избранные словарные статьи. М., 1996. С. 138–140, 141–142). Поэтому логично объединить стилистические фигуры и тропы в одну группу **стилистических приемов**.

Однако стилистические приемы в означенном понимании (совокупность стилистических фигур и тропов) не исчерпывают всего многообразия приемов, известных риторике. Поэтому, с точки зрения системного подхода к определению риторических понятий и терминов, целесообразно считать стилистические приемы лишь одной из разновидностей **риторических приемов** и, определив другие разновидности риторических приемов, поставить их во взаимное непротиворечивое соответствие. Для этого предлагается обратиться к наиболее широкому из возможных пониманию нормы и на его основе строить классификацию риторических приемов как мотивированных условиями речевого общения отклонений от той или иной ее (нормы) разновидности.

Так, с философской точки зрения, норму можно определить как «понятие, обозначающее границы, в которых вещи, явления, природные и общественные системы, виды человеческой деятельности и общения сохраняют свои качества, функции, формы воспроизводства» (Кемеров В.Е. Норма // Современный философский словарь. Лондон, Франкфурт-на-Майне, Париж, Люксембург, Москва, Минск, 1998. С. 579). Причем отклонения от норм в широком смысле этого понятия так или иначе фиксируются в речи, но не обязательно являются нарушениями собственно языковых или речевых норм, поскольку «отношения «нормативный язык/ненормативное содержание» возможны при передаче различных абсурдов, бессмыслиц, нарушающих нормы психического абсолюта: при передаче ситуаций в фантастике и волшебных сказках и т.д., т.е. при нарушении социальных (статусных, ролевых, поведенческих, моральных, этических, религиозных и т.д.) норм» (Болотов В.И. Проблемы теории эмоционального воздействия текста. Диссертация доктора филол. наук. Ташкент, 1985. С. 41). В рамках такого широкого понимания нормы, кроме норм языковых и речевых и соответствующих им стилистических риторических приемов (стилистических фигур и тропов), можно выделить, по крайней мере, следующие разновидности норм и, соответственно, – разновидности риторических приемов (понимаемых как прагматически мотивированные отклонения от этих норм):

Нормы логические, под которыми следует понимать законы формальной логики, соблюдаемые при построении нормативного высказывания (См. например: Свинцов В.И. Логика. Элементарный курс для гуманитарных специальностей. М., 1998. С. 123–162). Если в процессе речевой деятельности осуществляется намеренное и прагматически целесообразное отклонение от той или иной логической нормы (закона логики), мы имеем дело с **паралогическим риторическим при-**

емом. Примером паралогического риторического приема, основанного на “нарушении” логического закона противоречия может служить текст следующего анекдота: “Когда вернешься из кинотеатра, – говорит жена, – а я еще буду смотреть телевизор, то ты меня не буди” (Анекдоты наших читателей. М., 1995). Очевидно, что не могут быть одновременно истинными утверждения “Х смотрит телевизор” и “Х спит”.

Нормы лингвоэтологические (речеповеденческие), к которым относятся так называемые постулаты речевого общения, правила речевого этикета, регламентирующие выбор соответствующих речевых стереотипов; вообще все то, что называется коммуникативными и этическими нормами (См., например: Формановская Н.И. Коммуникативно-прагматические аспекты единиц общения. М., 1998). Когда говорящий/пишущий намеренно и прагматически целесообразно совершает речевой поступок, нарушающий ту или иную лингвоэтологическую норму, он использует **лингвоэтологический риторический прием**. Так, например, лингвоэтологическим по своей сути является прием намека (умолчания), лежащий в основе следующего комического текста: “Петр Ильич Чайковский, Фредди Меркьюри, Джордж Майкл, Элтон Джон, Энди Белл, Джимми Самервил, Марк Алмонд, Сергей Пенкин, Борис Моисеев...”

Вы все еще хотите отправлять вашего сына в музыкальное училище?” (Сегодняшняя газета. 2000. 8–14 июля). Намек, содержащийся в этом высказывании, демонстрирует отклонение от постулата полноты информации.

Нормы онтологические, понимаемые как присущие человечеству или какому-либо социуму и получившие отражение в языке представления о бытии (социальном, историческом, культурном и т.д.), его строении, законах и формах; “картина мира”, отраженная в языке. Соответственно мотивированное интенцией говорящего/пишущего и прагматически целесообразное в данной конситуации отклонение от онтологической нормы должно квалифицироваться как **параонтологический риторический прием**. Таким приемом, в частности, является намеренное изображение связей и отношений вещей (в широком смысле: фактов, явлений, событий, людей, их поступков, представлений) в искаженном (не реальном, фантастическом, абсурдном) виде, как, например, в таком фольклорном тексте:

Ехала деревня
Мимо мужика.
Вдруг из подворотни
Лают ворота.
– Тпр! – сказала лошадь,
А мужик заржал.
Лошадь пошла в гости,
А мужик стоял ...

Или в таком анекдоте:

“Психиатр говорит своему коллеге:

– Представляешь ко мне пришел пациент, который вообразил, что он автомобиль.

– Ну и как ты его лечишь?

– А я его не лечу, я на нем домой езжу” (Комок. 2001. 12–18 марта).

Обобщая сказанное, можно определить риторический прием как **способ построения высказывания, основанный на намеренном и прагматически мотивированном отклонении от языковых, речевых, логических, лингвоэтологических и онтологических норм с целью того или иного воздействия на адресата.**

Следует иметь в виду, что довольно часто упомянутые разновидности риторических приемов совмещаются в одном высказывании. Например:

“Когда Альберт Эйнштейн умер, в очереди у райских ворот он встретил трех новозеландцев. Чтобы как-то убить время, он спросил, какой у них интеллектуальный коэффициент.

– 190, – ответил первый.

– Прекрасно, – сказал Эйнштейн. – Мы сможем поговорить с Вами о вкладе Резерфорда в атомную физику и в общую теорию относительности.

– 150, – ответил второй.

– Хорошо, – сказал Эйнштейн. – Мы обсудим с Вами роль Новой Зеландии в борьбе за нераспространение ядерного оружия.

– 50, – ответил третий.

Эйнштейн задумался, а потом спросил:

– Ладно, тогда поделитесь своим прогнозом относительно дефицита бюджета на следующий год” (Сегодняшняя газета. 2001. 12 апр.).

В тексте этого анекдота совмещаются параонтологический риторический прием (изображение нереальной, фантастической ситуации), лингвоэтологический риторический прием (скрытый намек, содержащийся в последней реплике Эйнштейна) и стилистический риторический прием (нисходящая градация: *190... 150 ... 50; Прекрасно... Хорошо... Ладно...*).

Возвращаясь к теме настоящей статьи, заметим, что в иерархической системе рассмотренных злокутивных понятий, с приданными им в нашей концепции значениями, понятие стилистической фигуры, как и коррелирующее с ним понятие тропа, занимает позицию третьего порядка: риторический прием → стилистический прием → стилистическая фигура.

В отношении оппозиции язык/речь разные стилистические фигуры обладают неодинаковым статусом. В одних случаях языковому сознанию принадлежит только общий конструктивный принцип, в соответствии с которым в речи строятся конкретные фигуры-высказыва-

ния данного типа; своей собственной синтаксической модели такие фигуры не имеют. К фигурам такого рода относятся, например, апопсиопеза, реализующая принцип недоговоренности, усечения предложения-высказывания; парцелляция, реализующая принцип расчленения, дробления целостной структуры предложения-высказывания на интонационно и пунктуационно обособленные отрезки-фразы, и ряд других фигур.

В ряде случаев фигуры могут обладать своей собственной синтаксической схемой, моделью (хотя и не такой высокой степени интегрированности во всех своих звеньях, какой обладает модель предложения). К таким фигурам относятся, например: 1) пролепса (конструкция с именительным темой); 2) анадиплозис (цепной повтор) и некоторые другие. Ср.:

1) “*Москва!* На картах мира нет для нас *подобного*, наполненного таким содержанием *слова*” (Л. Леонов),

2) Итак, начинается песня *о ветре*,
О ветре, обутым в солдатские *гетры*,
О гетрах, идущих дорогой *войны*,
О войнах, которым стихи не нужны.

(В. Луговской)

В заключение, учитывая сказанное выше, стилистическую фигуру можно определить как **синтагматически более или менее типизированный (относительно формализованный) стилистический риторический прием.**

Красноярск



ЛЕТОПИСИ XV–XVI ВЕКОВ О ПОХОДЕ ИГОРЯ

*Н. В. ТРОФИМОВА,
кандидат филологических наук*

Неудачный поход князя Игоря Святославича Новгород-Северского с ближайшими родственниками против половцев положен в основу “Слова о полку Игореве” и зафиксирован в двух летописных повестях: южнорусской (сохранившейся в Ипатьевской летописи) и севернорусской (Лаврентьевский свод). Последняя отразилась в тексте многих поздних летописей, но при этом в большинстве их подверглась значительным изменениям.

Помещенная под 1186 годом в Лаврентьевской летописи, повесть типична для владими́ро-суздальского летописания эпохи феодальной раздробленности. Первая ее часть – рассказ о подготовке битвы – невелика по объему и содержит в основном традиционные для жанра элементы: перечисление сил, собранных князем, и описание положения, сложившегося перед битвой. Автор передает слова князей Ольговичей, собравшихся в поход, с явным недоброжелательством к ним и, подчеркивая их самоуверенность, предваряет речь героя репликой, в которой напоминает читателям, что Игорь и его родственники не приняли до этого участия в объединенном походе южнорусских князей. Приведенная речь половцев информативного характера, сообщает об их осведомленности в происходящих событиях.

Центральная часть повести содержит рассказ о ходе военных действий. По сравнению с уже сложившейся к тому времени традицией обращает на себя внимание краткость описаний двух битв. Первая из них, с незначительными силами половцев, успешная для Ольговичей,

практически лишь упомянута. Зато после сообщения о поражении половцев автор приводит пространную речь Ольговичей, радующихся победе и похваляющихся, что они пойдут “луку моря, где не ходили ни деди наши, а возьмем до конца свою славу и честь”. Эти слова подчеркивают характеристики героев, уже данные в первой части: недалекость и самонадеянность.

Автор подробно повествует о сборе сил половцами и об их хитрости: ожидая подхода основных сил, они три дня вели перестрелку с русскими воинами, не пуская их к воде. Следующее затем описание битвы дает отдельные уточнения сражения: воины, наконец, пробившись к реке, здесь на них напали враги и прижали их к воде. Дополняется это описание несколькими воинскими формулами: *дружины многое множество; бысть сеча зла велми; и побежены наши гневом Божиим; вся дружина избита, а другая изъимана и та язвена.*

Дважды в этом описании – в начале и в конце – использованы цитаты из книг пророков: с их помощью в первом случае автор осуждает неразумный поход Ольговичей, во втором – повествует о печали, охватившей русских людей.

В третьей части повести сообщается о том, что на Русь весть о поражении Игоря принес купец (гость), которому половцы велели передать князьям: “Поидите по свою братью, али мы идем по свою братью к вам”. Кратко сказано о горе князей, о сборе Святославом войска и бегстве половцев, после чего русские князья разошлись в свои земли.

Отдельный фрагмент посвящен обороне Переяславля, осажденному половцами. Во время битвы, описанной кратко, был тяжело ранен князь Владимир Глебович.

Последний эпизод содержит сообщение о побеге Игоря из плена и погоне за ним, сопровождаемое библейской цитатой и сравнением.

Завершают повесть рассуждения летописца о причине неудачи князей, которую он видит в грехах русских людей, понесших Божье наказание.

Характер повествования, незначительное количество конкретных исторических деталей, неразвернутость описания битв говорят о том, что суздальский летописец – современник описываемых событий. Он ставил своей целью не подробное изложение фактов, а их оценку и выражение своего мнения о князьях Ольговичах, отношении к которым во владими́ро-суздальских летописях преимущественно отрицательное.

Спустя более трех столетий после похода был написан общерусский свод 1497 года. Летописец включил в него повесть о походе князя Игоря, основанную на тексте из Лаврентьевской летописи, но последовательно сократив его, придерживаясь при этом определенных приемов. Самым заметным из них было снятие или сокращение речей действующих лиц, а оставшиеся монологи сохранили лишь сюжетную функцию, способствуя развитию событий.

Изъяты поздним редактором-переписчиком из текста фрагменты, связанные с выражением авторской позиции: цитаты из пророков (одна из них начинается, а другая заканчивает картину второй битвы), описание чувств русских князей, получивших сведения о поражении Игоря. Полностью отсутствуют заключительные рассуждения о грехах русских людей как причине поражения Ольговичей. Таким образом, ярко выраженная отрицательная позиция летописца XII века заменена редактором XV века на объективную: он не выражает никакого отношения к героям и событиям. Вместе с тем снимается провиденциальный мотив в объяснении поражения Игоря.

Меняется и повествование. Из него исчезают последовательные сообщения о ходе военных действий, снят подробный рассказ о сборе войск половцами и их хитрости перед началом второй битвы; описание ее сведено к формуле: “И бысть сеча зла”, дополненной единственным уточнением: “и пеши бяхуся”. Сокращен и рассказ об осаде Переяславля: фактически редактор лишь упомянул о судьбе князя Владимира Глебовича. О бегстве Игоря из плена сообщается лаконично: “Того же лета князь Игорь утече у половец”, убраны из текста упоминание о погоне, библейская цитата и сравнение с Саулом и Давидом.

Из описаний битв практически исключены воинские формулы, кроме уже упомянутой *в мале дружине* из описания сражения под Переяславлем.

В результате изменений повествование становится более простым, исключительно информативным, перечисляющим узловые моменты событий, лишенным всякого интереса к личностям и судьбам персонажей. Субъективные пристрастия и оценки исчезают, заменяясь позицией объективного повествователя, не сочувствующего героям, но и не осуждающего их.

Изменения претерпел и текст ранней повести в Тверской летописи. В нее введены два заголовка: в начале “О изгибели Ольговых внуцех”, а перед рассказом об осаде Переяславля – “Прихождение половецкое на Владимира Глебовича Переяславского”. Последний заголовок начинает часть, включающую рассказ, сильно сокращенный редактором, о сборе Святославом войска русских князей, а также повествование об осаде Переяславля. Помещены эти две части после повествования о побеге Игоря из плена, что нарушает хронологию событий. Таким образом, единый текст ранней летописи, в котором рассказ о защите Русской земли после поражения Игоря входил в состав третьей части воинской повести, превращен редактором Тверского сборника в два отдельных сюжета: первый – о походе Игоря, завершающийся его побегом из плена, второй – об обороне южнорусских княжеств. Достигается это введением второго заголовка и нарушением последовательности событий.

В основной части повествования характер изменений напоминает свод 1497 года, за исключением работы над прямой речью персонажей: она в основном сохранена. Так, последовательно сокращаются описания битв: снята значительная часть подробностей второго боя Игоря с половцами, исключен рассказ о передвижении войска Святослава; как и в своде 1497 года, к одной фразе сведено описание осады Переяславля, при этом исчезла формула *в мале дружине*.

В тексте Тверского сборника цитаты, входящие в редакцию Лаврентьевской летописи, и сравнения из Библии были изъяты: в начале и в конце второго боя, в сцене побега Игоря, а также заключительное дидактическое рассуждение. Однако после сообщения о победе во втором сражении редактор ввел новую цитату – говоря о том, что некому было даже весть принести о поражении русских, добавил: “За согрешения и за гордую похвалу, якоже пишет: хваляйся о Господи да хвалится, яко да не похвалится всяка плоть пред Богом, да не хвалится, рече, сильный силою своею”.

Таким образом, редактор, составивший в 1534 году Тверской сборник, проявил самостоятельность в подходе к тексту. Он, с одной стороны, так же, как редактор свода 1497 года, стремился к сокращению фактических данных о ходе военных действий, но, с другой стороны, старался сохранить облик персонажей и отдельные реплики, передающие отношение автора к событиям. В то же время он попытался придать большую сюжетную завершенность рассказу о походе Игоря, выделив в отдельный эпизод с заголовком поход половцев на Русь и переместив с нарушением хронологии побег Игоря из плена к основному повествованию.

Большой самостоятельностью отличается переработка текста повести, сделанная во “Владимирском летописце”. Общее направление изменений то же, что и в предыдущих двух летописях: изъятие библейских цитат и рассуждений автора, сокращение речей действующих лиц и описаний битвы. При этом редактор-переписчик “Владимирского летописца” был склонен не убирать совсем части текста, а заменять их более кратким изложением. Так, пространный фрагмент повести по Лаврентьевской летописи от слов: “И прииде с ним дружина вся, многое множество”, до “не бысть кто и весть принеса за наше согрешенье” заменен в поздней редакции одним предложением: “И по сем пришедшим половцом множество, и приидоша на Русь, и победиша половци князей Русских и избиша их множество, а инех князей изымаша рукама, и не упустиша кому и вести дати на Рускую землю грех ради наших”. Вместе с сокращением реальных деталей описания битвы из повестей исчезли изображение страха Ольговичей при виде силы противников и цитата из пророка, осуждающая самомнение князей. Можно заметить, что, заменяя фрагмент ранней повести своим, летописец сохраняет традиционные стилистические формулы, в самом общем виде описывающие ход событий.

Лексические замены наблюдаются во всем тексте произведения. Так, в речи Ольговичей перед началом похода вместо слов “хвалы добудем” используется оборот “славу возьмем”, в речи половцев “Братья наши избиты и отцы, и друзии изъимани, а се ноне на нас идут” часть фразы снята, а добавлена концовка: “Братия наша избита суть, а ныне Русь идут, хотят нас всех потреби”.

Как и редактор Тверского сборника, автор “Владимирского летописца” по-своему передал отрывок об осаде Переяславля. Но если первый из редакторов превратил его в самостоятельный сюжет, то второй свернул описание событий, при этом нарушив их фактический ход: “Они же, слышавше князей отшедших, и придоша к Переяславлю и много зла сътвори ... Владимир же Глебович затворися же во граде, а половцы возвратися вспять”. Исчезает описание боя на подступах к Переяславлю, в котором проявил героизм Владимир Глебович, получается, что он, не пытаясь сопротивляться врагам, затворился в городе. После этого отрывка в поздней повести сохранена всего одна фраза: “По малех днех утече Игорь князь у половцов” – сняты рассказ о погоне и сопровождающие его цитата и сравнение.

Хотя редактор “Владимирского летописца” стремился, как и его современники, к сокращению текста, но его работа отличается от них – он не исключает фрагменты, а заменяет их более обобщенным и кратким изложением событий.

Тенденция, намеченная в названных сводах, получила свое логическое завершение в Вологодско-Пермской и Устюжской летописях. В первой из них исключены все библейские цитаты и рассуждения автора, из речей действующих лиц сохранены сокращенные первые две реплики Ольговичей. Сразу после второй речи в краткой форме передается весь дальнейший ход событий: “И поиде Игорь Святославич с двема сынома и з братоничи за Дон, а не ведуще Божья строения, и тамо победиша их безвестно, некии гости принесли весть на Русь”. Таким образом, из текста исчезли все описания битв и рассказ о последствиях похода (сборе войск Святославом, походе половцев на Переяславль, бегстве Игоря из плена). Летописная воинская повесть сократилась почти до размеров погодной записи, из которой когда-то развился этот жанр, повествовательный текст превратился в сообщение.

И в Устюжской летописи – тот же объем и строение произведения. Но здесь произошло смещение представлений: князья Ольговичи идут в Орду “на татар в поле половецких”, и происходит путаница в именах князей, отправляющихся в поход: “Ольговы внуцы, Игоревичи, Всеволодовичи дети”. Таким образом, реально-исторические детали перестают иметь значение в восприятии летописца, важным остается лишь факт неудачного похода, в результате которого русские войска проиграли сражение.

Подводя итоги наблюдений, можно утверждать, что в поздних редакциях повести о походе Игоря происходит процесс постепенного отхода от религиозно-символического толкования событий, который выражается в отказе от цепи библейских цитат и исчезновении заключительного отступления автора. Кроме того, редакторы не считали необходимым последовательное описание военных событий и отметили лишь их узловые моменты, что привело к исключению конкретных деталей и ряда воинских формул.

Наконец, во всех случаях, но в разной степени уменьшается роль повествователя, его позиция по отношению к героям становится более объективной. Переработки памятника XII века, сделанные в XV–XVI веках, содержат изменения текста, говорящие о новом мировоззрении редакторов и восприятии ими летописного повествования как объективного, несущего в первую очередь важнейшие сведения о событиях. Поэтому они избавляются от лишних, с их точки зрения, деталей, превращая повествование в ряд кратких сообщений.





Семантика слова в названиях документов

*А.Н. КАЧАЛКИН,
доктор филологических наук*

В XVI–XVII веках главную роль в составлении и изменении названий документов играют семантические перемены, причем они оказываются настолько существенными, что известные слова начинают новую жизнь. Больше всего таких случаев приходится на названия актов правового порядка, а также действий, связанных с делопроизводством. У названия действия постепенно расширяется сфера применения, оно переходит в круг слов, связанных с документооборотом, но самостоятельные документы еще не появляются. В некоторых документах встречаются упоминания о новой деятельности приказной канцелярии. Прежде, чем возник подлинный текст с новым названием, находим упоминания об актах *Докончание, Осмотр, Отказ, Подписка* и ряде подобных. Часть из них появляется позже уже как название отдельного текста. В любом случае вопрос о времени появления нового акта, нового документа интересует исследователя, и он стремится различить в деловых и иных текстах названия просто действия, записи о факте действия, или названия новых актов, новых документов. Выявление самоназвания в ранних текстах позволяет возможно полнее по содержанию и шире во времени представить систему документа и документооборота в княжеской и приказной канцеляриях.

Постараемся определить и перечислить случаи, когда можно с достаточной определенностью говорить, что в тексте не просто называется действие, а упоминается документ или самостоятельный текст делового письма, имеющий самоназвание, сложившееся за счет опре-

деленного юридического акта или канцелярского, делопроизводственного действия.

Против того, что имеем дело с документом, с актом, который не стал пока им или не станет и впоследствии, может говорить упоминание интересующего нас слова в составе другого документа. Назовем часть случаев, когда определенное действие зафиксировано в документе с другим самоназванием: "... и договор делали о спорных землях о Себежских..." (1566 г.); "И по договору с целовальником Семеновом и с нами он Иван и порушную запись нам по себе дал" (1626 г.); "...приехав к Москве, явится ему и доезду своего память и понятым имена и тех людей отдать в Приказе..." (1627 г.); "Роспись городовым всяким порухам Китая города, по досмотру Луки Микулина да подъячего Ивана Лукина..." (1647 г.); "... тех старых и увечных ясачных людей досматривали, да тог сыск и свой досмотр описывали в ясачных книгах именов..." (1634 г.). Число подобных примеров можно умножить. Полагаем, что в приведенных и подобных случаях слова *Договор*, *Доезд*, *Досмотр* не могут быть истолкованы как документ.

Нас более интересуют случаи, когда по упоминанию можно предположить, что имеем дело уже с документом (или, в крайнем случае, с текстом делового письма). Признаками этого может служить следующее: 1 – указание на факт письменной фиксации акта, на то, что слово обозначает отдельный текст; 2 – указание на возможность физической передачи текста, на то, что текст прислан, привезен, принесен, подан в приказ; 3 – указание на воспроизведение ранее сказанного, ссылка на предыдущий текст; 4 – упоминание в сочетании с другими документами, в том числе с давно употребившимися, хорошо известными как документы, например, *Писцовыми книгами*, *Отписками* и подобными; 5 – указание на факт нотариальных действий с текстом; 6 – иная атрибутика, характеризующая акт как отдельный текст, как документ; разные факты канцелярской обработки текста.

Приведем примеры на предполагаемые названия документов, когда у слова сочетается несколько из перечисленных признаков: "А ково именем сотцкого выберут и на нево взять выбор за выборных людей руками да того сотцкого и на нево выбор привести в город на Алатар и с ним явитца и на нево выбор подат в приказе сыскных дел..." (1670 г.); "... и досмотру своево тому всему привезть роспись и доезд в Туринской острого к воеводе к Миките Васильевичу Кафтыреву" (1641 г.); "Да о том к тебе, великому государю, велено мне, холопу твоему, писать и сыск за обыскных людей руками и отписные книги за руками ж прислать" (1673 г.); "Послан от меня гонец пятидесятник Абрам Лисицын с нужными отписки в розные приказы, с ним же и сыск о князе Осипе" (ок. 1682 г.); "И он поп Иван с подъячим приехав из того села Халезева подали мне сыск за руками сыскными и роспись дворам за руками своими" (1694 г.).

Интересно отметить те случаи, когда у анализируемого слова в тексте встречаются два значения: название акта, действие и название документа: “И как к тебе ся наша в[еликого] г[осударя] грамота придет... и ты б ... велел выбрать целовалников ... со всякого стану по человеку, и велеть всякому в своем стану у выбору на того человека руки приложить, чтоб тот целовалник выбран был ото всего стану, а не выбором, как преж сего накупались и выбирали сговорясь, кто им надобен...” (1673 г.).

Перечисленные шесть признаков говорят о действии, акте как об отдельном тексте. Стоит отметить, что четвертый, особенно пятый и отчасти шестой признаки говорят о таком тексте еще и как о документе.

Таким образом, название текста, в том числе и документного, встречается в упоминаниях соответственно: *Выбор* – впервые в 1577 году, *Доезд* – в 1641, *Досмотр* – в 1604, *Излюб* – в 1618, *Привод* – в 1590, *Приговор* – в 1570, *Сыск* – в 1625. Напомним, что натуральные документы с такими самоназваниями впервые отмечены: *Выбор* – в 1623 году, *Доезд* – в 1687, *Досмотр* – в 1618, *Излюб* – в 1683, *Привод* – в 1690, *Приговор* – в 1642, *Сыск* – в 1683.

Примеры, подобные приведенным, а значит, доказательства появления с определенного времени документа или текста делового письма можно привести и по следующим словам: *Выправка*, *Дозор*, *Доход*, *Завещание*, *Опрос*, *Осмотр*, *Отбой*, *Отказ*, *Прошение*, *Развод*, *Разъезд* и ряду других. Именно они оказались употребленными в документном значении ранее, чем встречаются сами подлинные документы. *Выправка*, *Осмотр*, *Отказ* в качестве отдельных самостоятельных текстов пока не встретились.

В ряде случаев бывает трудно установить, имеем ли дело с документом или с фактом делового письма, так как контексты не позволяют выявить достаточное количество модальных признаков. К таким случаям относим *Доклад*, *Донос*, *Заявка*, *Определение*, *Прописка*, *Розыск*. Оговоримся, что в качестве некоторых примеров из имеющихся многих приведем лишь те, где значение интересующего нас слова наиболее близко к документному и могло бы быть истолковано как документное. На слово *Доклад* к таким случаям относим: “И князь Данило Васильевич, поставя перед великим князем обоих исцов и Данило Блина, доклад свой сказал великому князю” (1485–1505 гг.); “О наместниче указе. А о наместником и волостелем, которые держать кормленя без боярского суда, холопы и робы без доклада не выдати, не грамоты беглые не дати; тако ж и холопу и робе на государя грамоты правые не дати без доклада, и отпущные холопу и робе не дати” (1497 г.); “А положить кто отпустную без боярского доклада и без дичаьи подписи, или с городов без наместнича доклада... ино та отпустная не в отпустную” (Судебник 1497 г.); “... и судьи нас в том деле су-

дили да доклад нам учинили стати на Москве за списком перед государем перед великим князем в той же день по Крещен и Христове” (1518 г.) “И по великого князя слову Ивана Васильевича всеа Руси, и по великого князя дваретцкого докладу князя Ивана Ивановича Кубенского, и по судному списку, судия Федор Гневашов сын Строгин присудил...” (1534 г.); “... ты, государь, меня [воеводу], холопа твоего пожаловал велел службишко мое выписать и доложить по ней велел думного дьяку себя, государя. И службишко мое в Посольском Приказе выписано, а в доклад перед тобою, государь, не бывали” (1650 г.).

Вместе с тем, существует немало отглагольных существительных, употребление которых в текстах (причем довольно многочисленных) не дает возможности обнаружить признаки документа или даже делового письма. Таковы, например, *Дача, Доимка, Завет, Межевание, Написание, Объявка, Оклад, Описание, Отдача, Перемирие, Повеление, Позволение, Поздравление, Позовка* (срв. документ *Позовница*), *Порука, Поступка, Право, Призов, Приряд, Раздел, Размен* (но есть деловые тексты с названиями *Развод, Разъезд*), *Размет, Размолвка, Разруб, Разряд, Сделка, Сознание, Спор, Утверждение* и некоторые другие. Возможно, деловые тексты с такими названиями и функционировали некоторое время, но не сохранились, а эти слова, вероятно, обозначали лишь действие, сделку, акт. Среди них встречаем хорошо известные впоследствии как названия деловых текстов *Заказ, Клятва, Наряд, Отчет, Подряд, Присяга, Уведомление*, но в натуральном виде тексты с такими названиями не попали в поле нашего зрения, а контексты их употребления в памятниках таковы, что не дают оснований считать их функционировавшими в допетровскую эпоху. Сложению и развитию видов русского документа сопутствовали и языковые явления, характерные для этого жанра.



*Епископ Игнатий –
духовный писатель XIX века*

*Г. В. СУДАКОВ,
доктор филологических наук*

Петровские реформы привели к падению роли церкви в государстве, но развитие духовного стиля в XVIII веке еще успешно продолжалось, поскольку церковь была неразрывно связана с прогрессирующим просвещением. Постепенно светское начало брало в обществе верх, эта тенденция была усилена распространяющейся идеологией нигилизма – русской разновидности либерализма. Духовно-богословская жизнь ушла из светских залов в келейную тишину отдельных обитателей, среди которых в XIX веке заметно выделялись Оптина пустынь, Троице-Сергиева лавра, Сергиевская пустынь, Николо-Бабаевский монастырь. Здесь в одиночестве творили духовный подвиг немногочисленные церковные писатели. На основе их трудов существовала и развивалась церковно-проповедническая литература и сама проповедь как искусство устной речевой импровизации.

Этот период истории церковно-проповеднического стиля оказался забыт исследователями. В XIX веке исторической стилистики вообще

не существовало, а в ее традициях XX века было нормой не включать в систему стилей литературного языка церковно-проповеднический стиль. Между тем без учета его функционирования и без оценки его роли непонятны и необъяснимы многие явления русской словесной культуры XIX века, остается без ответа целый ряд актуальных вопросов: какова основа ораторского искусства эпохи? Каковы корни русского эпоса девятнадцатого столетия? Каков арсенал поэтических средств и приемов письменной культуры и речевого этикета эпохи?

Попытка воссоздать стилевой ландшафт XIX века немедленно приводит к необходимости обращения к духовному стилю и его творцам. Среди них в середине столетия самое заметное место принадлежит епископу Игнатию, как по объему, так и по качеству его литературного творчества, а также по благоприятным возможностям воздействия на литературную практику эпохи (его сочинения были опубликованы почти в полном объеме в 1881 году).

Святитель Игнатий (в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов – назван в честь Димитрия Прилуцкого) прожил на земле 60 лет (1807–1867). Как отмечали его ближайшие ученики, “в жизни таких людей резко выражается одна отличительная, характеристическая черта”. Для святителя Игнатия такой особенной чертой был иноческий духовный подвиг. Не случайно через 20 лет после его смерти Николай Лесков посвятит его праведнической жизни рассказ “Инженеры-бесребреники”. В духовных сочинениях, созданных владыкой Игнатием, утверждается аскетически-богословское учение – учение о внутреннем совершенствовании человека в монашеском быту и об отношении человека к другим духовным существам. Духовно-нравственные сочинения преобладают в литературном наследии святителя.

Сразу после окончания инженерного училища в возрасте девятнадцати лет он подает в отставку и, несмотря на осуждение родителей, готовится к пострижению. Будучи послушником в Александро-Свирском монастыре, а затем в Площанской пустыни Орловской епархии он начинает заниматься литературным творчеством: пишет что-то среднее между беллетристкой и религиозной философией (“Сад во время зимы”, “Древо зимою пред окнами келии”), но первое сочинение даже по названию вполне определенно выражало намерения начинающего проповедника: “Некоторые советы к сохранению Заповедей Господних”. Заметим, что Дмитрий в юности провел несколько месяцев 1829 года в Оптиной пустыни, и потом всю жизнь поддерживал связи с монахами этой знаменитой обители. И вот как характеризует современник богословскую подготовку юного инока: “не смотря еще на молодые лета, видно было, что Брянчанинов много читал отеческих книг, знал весьма твердо Иоанна Лествичника, Ефрема Сирина, Добротолубие и писания других подвижников”.

В период пребывания в Сергиевой пустыни (под Санкт-Петербургом) в качестве ее руководителя (24 года) духовной потребностью Иг-

натия было литературное творчество: здесь написаны, в частности, такие выдающиеся богословские тексты, как “Блажен муж”, “Песнь под сению креста”, “Молитва преследуемого человеками”, “Плач инока”. Игнатий мечтал после Сергиевой пустыни поселиться в Оптиной пустыни, но в 1857 году его назначают епископом Кавказским и Черноморским. В Ставрополе Игнатий пишет “Приношение современному монашеству” – как он сам определял, “духовное завещание на духовные блага”: “Духовным благом называю монашество. Книга содержит в себе правила для наружного поведения иноков и советы им о душевном подвиге или делании. Могу назвать сочинение это моею таинственною исповедью” (цитаты из сочинений св. Игнатия даются по изданию: Святитель Игнатий Брянчанинов. М., 1993. Т. I–VII).

В связи с болезнью епископ Игнатий попросил отставить его от епископского служения и направить в Николо-Бабаевский монастырь Костромской губернии, где и находился с 13 октября 1861 года до конца своих дней. Здесь написал оригинальное “Слово о смерти”, составил большой по объему “Отечник” – сборник поучений отцов церкви. В 1864 году издал два тома “Аскетических опытов”, в 1867 – вышли следующие два тома: “Аскетическая проповедь” и “Приношение современному монашеству”. Здесь же, в Бабаевском монастыре, утром 30 апреля 1867 года и закончилась земная жизнь праведника. В этом монастыре он и похоронен.

Будучи от природы человеком очень способным, святитель Игнатий тем не менее всю жизнь настойчиво совершенствовал природные дарования. Так, интерес к литературному творчеству ознаменован настойчивым изучением трудов христианских и светских просветителей. В Вологодской областной библиотеке хранится экземпляр книги М.В. Ломоносова “Краткое руководство по риторике” с владельческой записью Дмитрия Брянчанинова – возможно, этот труд сопровождал его с детства. И он, действительно, был блестящим ритором-проповедником, хотя его роль в развитии церковно-проповеднического стиля русского литературного языка до сих пор не оценена.

Подчеркнем разницу между церковнославянским языком, известным и широкоупотребительным на Руси с конца X века (см. такие канонические богослужебные тексты, как Евангелие, Апостол, Псалтырь и др.) и церковно-проповедническим, или духовным, стилем русского литературного языка. Наиболее яркий жанр этого стиля – *проповедь (гомилия)*. Основное назначение проповеди – нести слово Божие в мир, потому и текст должен быть общедоступным. У проповеди как жанра есть три особенности: чистый русский язык, употребление высоких риторических средств, импровизационный характер речи. Но в проповеди немало библейских цитат, церковнославянский язык здесь может выступать и в чистом виде как *lingva sacra* (язык культа), а затем перекладываться на русский с элементами толкова-

ния. Таким образом, текст проповеди имеет три функции: воздействие, популяризация, приобщение. В этих целях для проповеднических текстов характерны апелляция к слушателям, приемы диалогизации речи (повелительные формы: *смотрите, поднимайтесь, пусть каждый спросит себя*; вводные конструкции: *как вы знаете*; риторические вопросы; повторы и синтаксический параллелизм; условные конструкции; развернутые метафоры на основе библеизмов). Удивительно гармонично использует эти приемы наш проповедник.

Один из лучших образцов церковно-проповеднического стиля XIX века – двухтомное сочинение святителя Игнатия “Аскетические опыты”. Каждый текст здесь – стилистический шедевр, а содержание поражает искренностью, глубиной религиозного чувства и блестящим знанием Священного Писания и святоотеческой литературы. Святитель работал над книгой почти двадцать лет. Вот как он видел структуру и содержание каждого из четырех разделов этой книги (по письмам от 1 дек. 1846 и 11 янв. 1865 годов): “1. Приготовление к причащению Святых Христовых тайн. Об Иисусовой молитве, о смирении, о монашестве. 2. Элегии. Поэтические сочинения: Плач, Блажен муж, Чаша, Зрение греха своего. 3. Внутренние действия религии Христианской. Статьи Богословские (о евангельских заповедях). 4. Нравственные советы. О христианской нравственности и философии”. Но в книге он не стал группировать статьи по разделам, что сообщило тексту “Опытов” характер свободной импровизации. В письме И.И. Глазунову от 3 марта 1864 года автор “Опытов” писал: «“Аскетические опыты” – книга практическая. Она единственная потому, что со времени введения в России образования никто еще не писал в этом роде. Она есть сборник учения святых отцов православной церкви о главных добродетелях христианских и о духовном подвиге». Что же касается особенностей слога, то святитель сообщал: “Каждая часть имеет свой тон”; “Разнообразие слога нахожу неизбежным”. По поводу “Аскетической проповеди” позже он заметил: «“Аскетическая проповедь” имеет свой отдельный слог». Таким образом, индивидуализация “тона (слога)” каждого отдельного текста являлась сознательным помыслом автора.

Авторский замысел “Аскетических опытов” сложился сразу и не менялся, хотя “чистил” (это любимое слово писателя Брянчанинова) он этот труд многократно. Уже в 1846 году, оценивая одну из статей, он признавался: «“Чаша Христова” – таких статей у меня написано 15, назначаются составить книгу “Мой дар друзьям моим”. Образ изложения, наружная форма, самый слог – может быть, новость в духовной русской литературе. Хочу, чтоб книга удобопрístupна была каждому, как друг; и чтоб гордый ум смиряла высотой истин и глубиной чувств: друг должен быть с характером». Все эти качества в двухтомной книге есть. В первый том вошло 53 статьи, во второй – 21. Часть

из них носит явно биографический характер, как “Плач мой” – о печали души, стремящейся к Богу и преодолевающей препятствия ради этого. Большинство текстов – это нравственные советы неравнодушного друга.

Однако вернемся к риторическому аспекту “Опытов”, а именно – к разнообразию слога. Прежде всего это достигается разнообразием жанров: самим автором названо десять жанров, но фактически их больше. Какие-то отражают общелитературную практику эпохи, другие – результаты влияния традиций духовной литературы, но важно, что все они соответствуют русскому риторическому идеалу, как его толковали в XVIII и XIX веках.

Два произведения обозначены как *дума*. В “Думе на берегу моря” реальный образ Балтийского моря, наблюдаемый настоятелем Сергиевой пустыни, становится основой для метафоры житейского моря, бури страстей, от которых автор удаляется в ограду святой обители. Статья “Голос из вечности” носит подзаголовок “Дума на могиле”, она написана в 1848 году в Сергиевой пустыни в связи с кончиной близкого Игнатия с юности человека и представляет собою первый по времени опыт изложения христианского учения о смерти. Этой теме впоследствии он посвятил целый том под названием “Слово о смерти”.

Несколько раз в своих статьях святитель использует жанр *размышления*, особо популярный в философской и религиозной литературе XVIII–XIX веков (“Размышление о смерти”, “Размышление при заходе солнца”, “Размышление, заимствованное из I послания св. апостола Павла к Тимофею, относящееся преимущественно к монашеской жизни”).

Используется древний, библейских времен жанр *песни* – “Песнь под сению креста”. Это сочинение создано, по признанию автора, под влиянием пятнадцатой главы Исхода.

Столь же древен и жанр *плача*, предполагающий сугубо личные переживания автора. К этому жанру особое отношение и у святителя Игнатия. Он пытался осмыслить духовную сущность плача как экстатического состояния и для этого поместил в “Опытах” единственный образец “учения” как риторического жанра, посвятив именно плачу, – это “Учение о плаче преподобного Пимена Великаго”. По Игнатию, плач – путь покаяния грешника, душевный подвиг инока: “*Помилуй мя* – это выражение внедрившегося в душу плача”. Задуманный еще в 1830 году в Семигородней пустыни послушником Дмитрием Брянчаниновым “Плач инока” был значительно исправлен и пополнен епископом Игнатием в 1866 году в Николо-Бабаевском монастыре Костромской епархии. Кстати, другое сочинение – “Плач мой” тоже был написан в этом монастыре, но в 1847 году в период отпуска, полученного настоятелем Сергиевой пустыни для поправки здоровья. Обра-

тим внимание на ритмическую организацию текста, на гармонию повторов, на градацию усиления: “Плачу умом, плачу сердцем, плачу телом, плачу всем существом моим; ощущаю плач не только в груди моей, – во всех членах тела моего... Душа моя! Прежде нежели наступило решительное, неотвратимое время перехода в будущность, позаботься о себе. Приступи, прилепись к Господу искренним, постоянным покаянием, – жителем благочестивым по Его всесвятым заповеданиям”.

Особое воодушевление святителя Игнатия вызывал жанр *слова*, особенно при создании богословского раздела “Аскетических опытов”. В подтверждение можно проследить хотя бы за названиями отдельных сочинений: “Слово утешения к скорбящим инокам”, “Слово о страхе Божиим и о любви Божии”, “Слово о келейном молитвенном правиле”, “Слово о церковной молитве”, “Слово о молитве устной и гласной”, “Слово о поучении или памяти Божией”, “Слово о молитве умной, сердечной и душевной”, “Слово о молитве Иисусовой”, “Слово о спасении и христианском совершенстве”, “Слово о различных состояниях естества человеческого по отношению к добру и злу”.

Приближается по содержанию и по назидательному тону к этому роду статей *послание* – так оформлен один, тоже биографический, текст 1847 года под названием “Послание к братии Сергиевой пустыни из Бабаевского монастыря”.

Такой же характер носит *беседа* – тоже единственный опыт: “О молитве Иисусовой. Беседа старца с учеником”.

Еще два использованных святителем жанра более связаны с богослужебной практикой: *чин* и *молитва*, но это только внешняя форма. В действительности “Чин внимания себе для живущего посреди мира” посвящен теме углубленного внимания к мыслям о Боге, обязательности отвращения от мирского во время молитвы.

Название *молитва* имеет один текст – “Молитва преследуемого человеками”. Он и оформлен как молитва и выражает христианскую идею благодарного отношения к людям, наносящим оскорбления, ибо Бог избирает их орудиями наказания некоторых грешников. Текст состоит из четырех частей и имеет все риторические свойства молитвенного канона: 1) благодарение Господу за ниспосланные испытания, 2) прошение о благословении и наградах для тех, кого он избрал орудиями наказания грешника, 3) просьба о прощении и даровании милостей, 4) славословие Господу и упование на милость к грешнику. Заметим, что сочинение молитвенных текстов для себя было нередкой практикой в XIX и даже XX веках (см., например, молитву старцев Оптиной пустыни и т.п.).

В остальных случаях автор не называет жанра текста, но, судя по внешним признакам, в его творчестве преобладали *беседы* и *слова*, т.е. распространенные жанры “учительной” литературы, ведь и вся книга для автора – это “нравственные советы”.

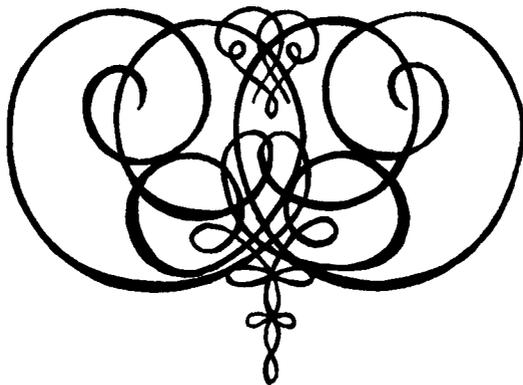
Заслуживает внимания текст “Посещение Валаамского монастыря”, где тоже наблюдается следование традициям православной литературы, в частности, жанру *хожения по святым местам*.

Сравним еще соотношение жанров в “Аскетической проповеди”. Сама по себе проповедь – жанр *строгого назидания*, но в книге под названием “Аскетическая проповедь” помещены статьи разных жанров. Преобладают *поучения* – их 39, а в “Аскетических опытах” их не было совсем. К жанру *слова* отнесены семь текстов, к жанру *беседы* – четыре, два текста автор определяет как *речь*, помещено одно *изложение учения*.

В древнерусской православной практике преобладали два жанра: *поучение* (дидактическая, учительная речь) и *слово* (торжественная, панегирическая, похвальная речь). Именно эти жанры были любимы нашим автором. Таким образом, следование традициям русского риторического идеала как идеала православного – отличительное свойство сочинений святителя Игнатия и церковно-проповеднического стиля XIX века в целом.

Вологда





От “Служебных перемен”

до

“Живой покойницы”

**Газетные заголовки в провинции
начала XX века**

А. А. ГОЛИЦЫН

“Страшные потери! Тысячи убитых! Император отрекся!” – кто не помнит выкрикивающих эти заголовки босоногих мальчишек – продавцов газет из советских фильмов о революции? Но речь впереди не о них, а о том, что именно они кричали, стремясь заработать гривенник на булыжных мостовых начала теперь уже прошлого века. Какими были они, эти заголовки? Что бросалось в глаза нашим предкам, открывавшим страницы местных газет за утренним чаем в провинциальном городе 100 лет назад?

До 1899 года, например, в Ярославской губернии существовали лишь две местные газеты, издаваемые духовной и светской властями, “Ярославские губернские ведомости” и “Ярославские епархиальные ведомости”. К началу XX века их в разные периоды насчитывалось до десятка, правда, кроме газеты “Северный край” и “Голос”, все остальные выходили лишь эпизодично.

Газетные заголовки первых лет тысяча девятисотых были крайне однотипны. К примеру, в так называемой “официальной” части “Ярославских губернских ведомостей” (все издаваемые губернской властью газеты делились на две части – официальную и неофициальную) заглавия не менялись на протяжении от 1900 до 1917 годов. Из номера

в номер повторялось одно и то же: “Распоряжения правительства”, “Служебные перемены”, “Объявления и извещения” с подразделами “О продаже имений”, “О воинской повинности”, “О мертвом теле”, “О вызове к торгам” и т.д. Содержание “объявлений и распоряжений” каждый раз обновлялось, но заглавия – нет.

Больше разнообразия было в неофициальной части, но и здесь заголовки в первый год двадцатого века разнообразием не блещут. Основной способ озаглавливания – рубрикация, причем названия рубрик кочуют из одной газеты в другую и меняются довольно редко. Разные по содержанию тексты, стоящие под одной рубрикой, чаще всего не имеют отдельных заголовков и разделены только пробелами: “Иностранные известия”, “Местные известия”, “Областной отдел”, “Городская хроника”, “Телеграммы” (сообщения Российского телеграфного агентства), “Внутренние известия” или просто “Хроника” (газеты “Голос”, “Ярославские губернские ведомости”, “Северный край”). Стремление озаглавить текст в провинциальных газетах XIX и первых годах XX веков практически этим и исчерпываются.

“Ярославские епархиальные ведомости” представляли собой сборник обширных статей авторов из духовенства. Здесь каждый материал имеет свое заглавие, но все они клишированы, например: “Слово на Новый год”, “Слово на неделю мясопустную”, “Слово при закладке церкви на ветке Московско-архангельской железной дороги”, “Речь при отпевании воспитанницы Епархиального училища Веры Троицкой”. Отметим, что клишированность заголовков задается самим жанром статей, весьма недалеко ушедшим от жанра церковной проповеди.

Привычный нам стиль сенсационности в заголовках незнаком журналистам начала XX века. Общая черта всех заголовков в этот период – стремление обозначить тему статьи, помочь читателю сориентироваться среди текстов газеты, а отнюдь не привлечь его внимание к какой-либо публикации, так как этого не требовалось. При отсутствии заметной конкуренции губернские газеты имели своего постоянного читателя, который узнавал местные новости, прочитывая газеты от корки до корки.

Все начинается с появлением новых, частных газет, которых на арену истории призывала сама жизнь.

Сложившаяся система заглавий в провинциальных газетах начинает ломаться в периоды общественных потрясений и войн, которыми был богат промежуток истории от 1900 до 1917 годов. Интенсивнее всего это проявляется во время революций 1905 и 1917 годов, Русско-японской и Первой мировой войн. Прежде всего, журналисты начинают давать отдельные имена каждой статье, даже если та лишь в несколько строк объемом. Вначале заголовков удаляются лишь самые важные сообщения – статьи-хроники военных действий времен Русско-японской и Первой мировой войн. Впрочем, постепенно этот

принцип переносится и на события общероссийской жизни, и на вести из-за рубежа. Рубрики тоже сохраняются: к примеру, все статьи о Первой мировой войне идут под рубрикой “Война” (Северный край. 1905). При этом подобная местная хроника может по-прежнему даваться без отдельных заголовков.

Вот некоторые заголовки за 1905 год: “Гулльский инцидент”, “О китайском нейтралитете”, “Потери японцев”, “Наступление Ойамы”, “Медицина на войне”, “Где наша эскадра?”, “Волнения в Корее”. Уже по этим примерам заметно, что сам принцип озаглавливания меняется. Появляются формы экспрессии (вопрос) и оценки, впрочем, последнее довольно эпизодично, оценка в заголовке чаще всего – средство выражения официальной позиции и пропаганды: “Апофеоз немецких зверств” (Северный край. 1915. № 36), “Трогательный пример любви к царю и отечеству”, “Священная война и ее оправдание”, “Крамола” (статья об убийстве в Петербурге великого князя Сергея Александровича. Ярославские епархиальные ведомости. 1915. № 2; 1905. № 8). Последний заголовок показателен для еще одной тенденции, проявившейся в начале века в заголовках провинциальных газет и характерной для современной журналистики, – стремление выносить в заголовок не тему текста, а исключительно новую информацию по теме. Так, в полном высказывании “Убийство Великого князя – крамола”, тема – “убийство Великого князя”, опускается, как либо общеизвестный факт, либо факт, о котором все равно читатель узнает, познакомившись с текстом под таким экспрессивным заглавием.

Отход от заголовка-темы выражается и в другом. Начинает проявлять себя стремление к заголовку, аккумулирующему в себе всю новизну, представленную в тексте статьи: “Японцы наступают”, “Снег на юге Франции”, “Пойман японский шпион”, “Дерзкая кража из Лиона” (Голос. 1905. № 6), “Генерал инспектор пехоты Гринненберг, по слухам, покидает свой пост” (Ярославские губернские ведомости. 1905. № 91). Характерно, что такие заголовки появляются в основном в разделе иностранных или столичных известий, а также военной хроники. Возможно, это новшество было почерпнуто провинциальными журналистами из столичных, либо зарубежных изданий.

Современные авторы выделяют в газетных заголовках три основные функции: номинативную, коммуникативную (информативную) и рекламную (Шостак М.Н. Журналист и его произведение. М., 1998). На протяжении с 1900 по 1917 годы рекламная функция начинает, хотя и весьма редко, проявлять себя. Это наблюдается и в появляющихся материалах “на интерес”, информация которых не важна, но занимательна. Постепенно входят в моду оксюмороны – “Живая покойница” (Ярославские губернские ведомости. 1905. № 18), фразеологизмы – “Пир во время чумы” (Голос. 1914), ирония – “Протест воровской организации” (Ярославские губернские ведомости. 1915. № 96), рито-

рические вопросы – “Доколе?” (Ярославские епархиальные ведомости. 1915. № 2), что, несомненно, придает живость заголовку и газете вообще.

Сложившаяся система заглавий меняется довольно медленно. Могут наблюдаться и обратные процессы – консервации устоявшегося привычного способа озаглавливать статьи, что произошло с “Ярославскими епархиальными ведомостями”, которые в начале 1917 года вообще прекратили издание неофициальной части и печатали лишь церковные постановления и распоряжения под соответствующими заголовками. И все же именно промежуток с 1900 по 1917 годы был тем временем, когда газетный заголовок в провинциальной прессе претерпевал заметные изменения, постепенно, но все же приближаясь к тому заголовку, который мы привыкли видеть на страницах современных газет.

Ярославль





Слово о Собинке

В. А. АНТОНОВ

Многие исследователи трактуют топоним *Собинка* (Владимирская обл.) как производный от *Собиновая пустошь* или *Собинова пустошь*. Но если так, то почему же город назван *Собинка*, а не *Собиновка*?

По предположению Г.П. Смолицкой (Русская речь. 1999. № 3), название города образовано от прозвища (фамилии) *Собин*, в основе которого слово *собин*, известное в говорах Центральной России в разных значениях: “человек с какой-то индивидуальной, собственной особенностью” или “собственные пожитки, имущество” и др. Действительно, и толковый словарь В.И. Даля, и этимологический словарь М. Фасмера содержат множество значений и однокоренных слов: *собь*, *собина*, *собинка*, *собственный*, привлекаемых при объяснении названия города в разных краеведческих публикациях. Находим мы имя *Собина* и у С.Б. Веселовского в исследовании о древнерусских именах – “Ономастикон”. Знакома эта книга, очевидно, и автору исторической повести о событиях конца XV века, назвавшему героя *Собинкой* (Куликов Г.Г. Пушкирь Собинка).

Статью Г.П. Смолицкой о *Собинке* завершает короткая фраза: “Первоначально город назывался – *Пустошь Собинова*”. С этим никак нельзя согласиться. В 1939 году рабочий поселок Собинка был преобразован в город. *Пустошью* этот пункт вообще никогда не назывался, уже по данным 1859 года, он значится как фабрика Товарищества Собинской мануфактуры (Список населенных мест Российской империи. Владимирская губерния. СПб., 1863. Т. VI).

В Госархиве Владимирской области выявлено немало дел XVII–XIX веков с упоминанием интересующей нас местности. Название *пустоши* в них встречается в десятках вариантов! Вот только ни в одном из них ни разу не встретился суффикс *-ов*. Откуда же этот суффикс

взялся в наименовании пустоши в перечисленных публикациях? Ока-зывается, впервые он и появился-то только в 1958 году в книге, вы-шедшей к 100-летию фабрики, а из нее тиражируется до настоящего времени.

Название, состоящее из нескольких слов, на протяжении столь длительного промежутка времени не могло не изменяться, ведь оно бытовало, в основном, в устной передаче, отсюда и множество вариан-тов именованя местности. Следует учесть также, что разница, от-мечасмая в вариантах названия, в устной речи не так заметна, как на письме. Иногда в одном документе встречаются рядом два-три вари-анта названия. Причем выявить какую-либо закономерность или при-оритет в употреблении вариантов в разное время не удалось.

Чаще всего пустошь называли *Собина Лука Лопата тож*, особен-но в строгих межевых документах. В прошениях, свидетельских пока-заниях и других документах более свободной формы пустошь имену-ют: *Собенная Лопата тож*, *Собенная Лука*, *Собенная Лука Лопата тож*, *Собина Лука*, *Собинная Лука Лопата тож*, *Собинская Лука Ло-пата тож*. Один раз даже встретилось в тексте 1764 года: “на указную часть в Лопатиной Субенной Луке” (Государственный архив Влади-мирской области. Далее – ГАВО). Часто в делах фигурируют две пусто-ши: *Собенная и Лопата*, *Собинная и Лопата*, *Собина и Лопата*, *Луки Собинная и Лопата*, *Луки Собенная и Лопата*, *Луки Собина и Лопата*. Хотя в одном из документов 1847 года указано, что спорные ныне пустоши *Собина Лука* и *Лука Лопата* в 1799 году размежеваны в одну окружную между под наименованием пустоши *Собиной Луки Лопата тож* (там же), но их и в более позднее время нередко считали двумя пустошами, а в более раннее время они иногда уже значились в одной: “в Луке Собенной да в Луке Лопате которые Луки ныне состо-ят в пустоши Собинной Луке Лопата тож” (1763 г. ГАВО).

Дело коллежского асессора Василия Федоровича Алябьева (даль-него родственника известного композитора А.А. Алябьева) с камер-гером графом Александром Николаевичем Зубовым (старшим вну-ком генералиссимуса А.В. Суворова, сыном “Суворочки”) о пустоши *Собиной Луке Лопата тож*, тянувшееся с 23 марта 1836 года по 25 февраля 1846 года, составило увесистый том из 472 листов (ГАВО). Оно позволило полнее представить историю мест, где ныне находится город Собинка.

В писцовых Владимирских книгах 1636, 1647, 1653 и 1665 годов на-звание *Собина* или похожее еще не встречается. В делах фигурирует большая пустошь Кононова, расположенная на границе Клековского и Ильмехоцкого станов Владимирского уезда. В 1636 и 1647 годах она значится в поместье “за володимерцом Иваном Ильиным сыном Пар-ским”. В 1665 году, после смерти Ивана Парского, четверть пустоши Кононовой была отделена зятю его “Савве Иванову сыну Подольско-

му в поместье со всеми угодья, а достальные три жеребья даны Афонасью, Дмитрию да вдове Татьяне Никифоровой жене Парским”.

В марте 1675 года Савве Подольскому было дано дополнительно за службу “из порожних земель (незаселенных государственных земель) в Володимирском уезде у пустоши Кононовой в Луке Собенной 12 четвертей лесу раменного рослага в длину на 6 верст, а поперег на 3 версты, сенных покосов по реке по Клязьме 50 копен...”.

Вероятно, это первое упоминание в письменном источнике нового названия, притом сразу в двух вариантах. Как подтверждение этому, в выписке из документов 1691–93 годов, когда шла тяжба об этой земле между наследниками Саввы Подольского (вдовой Настасьей с детьми и пасынками) и Василием Елбузиным, к которому перешла часть владений Парских, встречаем “луга, что в писцовых книгах написаны к пустоши Кононовой на реке Клязьме, а по новому прозванью Лука Собинная” (ГАВО). При повторе этого документа написано “Лука Собенная” (Там же).

За последующие полтора века пустошь Собина Лука Лопата тож неоднократно делилась на участки, которые передавались по наследству или продавались. Среди владельцев пустоши встречались фамилии Головиных, Голицыных, Суворовых, Зубовых, чаще всего она считалась отхожей пустошью, принадлежащей к известному селу Ундолу.

Среди дел Губернской межевой канцелярии встретился “План первой части пустошей Собинной Луки и Лопаты владения крестьян сельца Кадыева и деревни Литовкиной” (ГАВО), составленный при Генеральном межевании в 1770 годы и проверенный в 1855 году. К западу и северу от этого владения указана “земля второй части пустошей Собинной Луки и Лопаты владения владимирского 1-й гильдии купецкого сына и почетного гражданина Александра Андреева Никитина”. Это имя представителя купеческой династии, вышедшей из крестьян древнего села Черкутино, широко известно владимирским краоведам. Встречаем мы его и в следующем деле, хранившемся в канцелярии губернского правления (там же).

Дело было начато 26 мая 1858 года, когда владимирскому губернатору действительному статскому советнику Е.С. Тиличеву поступило прошение, в котором А.А. Никитин, сообщив об учреждении им с братьями Л. и М. Лосевыми и Г. Миндовским Товарищества под названием *Собинской мануфактуры* бумажных изделий, просит разрешить “приступить к возведению строений для Мануфактуры во Владимирском уезде при реке Клязьме в пустоши Собинской, принадлежащей Никитину и уступленной созданному Товариществу”. Интересно, что в протоколе заседания губернского правления 18 июня 1858 года, на котором (после соответствующего “дознания” и выяснения, что препятствий не имеется), решался вопрос о разрешении на строительст-

во, первоначально было написано “в пустоше Собинской”, а затем исправлено на “Собиной”.

С легкой руки А.А. Никитина, использовавшего в названии мануфактуры один из наиболее красивых вариантов названия пустоши (хотя и не самый распространенный), поселение при предприятии стали называть *Собинкой*.

По-моему, первоначальное название пустоши происходит все же не от имени или прозвища *Собин*, и не от слов *собь*, *собственный*, а от слов *особый*, *особенный* (в значении “отдельный”). В просторечном произношении от слова *особенный* совсем недалеко до *собенный*, *собинный*, *собинский*. Среди множества вариантов наименования пустоши в разное время встречались и подтверждающие мою версию. Уже в 1675 году сенные покосы, приданные С. Подольскому к пустоши Кононовой, были названы *особыми*. В документе 1761 года встречается “в пустошах Кононове, Коробейке, в Луке Особенной Лопата тож, в Коровье болоте и в Бору...” (ГАВО).

В Вотчинной коллегии 30 октября 1780 года слушали справку “по Володимерскому уезду о пустошах Лопате Особиной Луке владение девиц графинь Натальи и Катерины Александровых дочерей Головиных с прочими владельцами...” (Там же).

*Лакинск,
Владимирская область*



“Всякая невеста для своего жениха родится”

*Л. Б. САВЕНКОВА,
кандидат филологических наук*

Обычаи и жизненный уклад русского народа широко отражены в русских пословицах, в частности, в наиболее полном на сегодняшний день собрании В.И. Даля “Пословицы русского народа”. Рассмотрим на этом материале традиционные представления русской крестьянской общины о людях, вступающих в самостоятельную жизнь, создающих семью.

В русских пословицах семья предстает как кровно-родственное объединение патриархального типа. Однако главенство мужчины в семье порою оспаривается со стороны женской половины. Да и вообще пословицы о семье предстают как две противоречащие друг другу группы изречений. В одной создается образ идеальной патриархальной семьи, показано, какой она должна быть. Вторая же выявляет, что происходит в жизни семьи в действительности, как складываются отношения между ее членами. Какие требования предъявляли наши предки к тем, кто создает семью? Каким должен был быть жених, а какой – невеста? Главный совет, который подают пословицы семье невесты – родители должны внимательно присмотреться к потенциальному зятю, чтобы в будущем не пришлось сожалеть о заключенном союзе: “Жених что лошадь: товар темный”; “Не за отца отдать, а за молодца”; “Заглазного купца кнутом бьют”.

Самым важным было одно требование: жених должен был либо быть достаточно состоятельным, либо уметь работать так, чтобы в семье не было материального недостатка: “Для щей люди женятся, для мяса – замуж идут”; “Не молодца любят, денежку”. Жених предназначен Богом, поэтому не стоит задумываться над его внешностью: “Коли суженый урод, так будет у ворот”; “Суженого и конем (и кривым оглоблями) не объедешь”.

Что касается возраста, то жених должен быть на несколько лет старше невесты. Пословица говорит: “Невеста родится, жених на ко-

ня садится”. Однако не стоит думать, что жених ко времени рождения невесты уже настолько возмужал. Просто пословица напоминает нам о старинном обряде посвящения “в бытие граждан” мальчиков в возрасте от двух до семи лет (а у казаков еще раньше), как об этом свидетельствует И.М. Снегирев (Снегирев И.М. Словарь русских пословиц и поговорок; Русские в своих пословицах. Н. Новгород, 1996. С. 265). Об обычае сажать маленького мальчика на лошадь упоминается и в романе М.А. Шолохова “Тихий Дон”, где годовалого Григория Мелехова впервые посадили на коня, и он сразу вцепился в конскую гриву, что считалось хорошим признаком будущего казака.

И слишком молодой, и пожилой возраст женихов имеют свои достоинства и недостатки: “Стар муж, так удушлив, молод, так не сдружлив”; “За старым жить – только век должить”; “За малым жить – только маяться”. Естественно, лучше всего выйти за сверстника: “За ровней жить – тешиться”. Тем, кому это не удастся, пословицы советуют в любой ситуации находить свои преимущества: “За молодым жить весело, а за старым хорошо”.

Вопроса о вероисповедании жениха (да и невесты тоже) пословицы не ставят вообще, так как во время их возникновения православие было на Руси господствующей религией, и нехристианские браки просто-напросто не допускались среди русского населения. Кроме того, понимая, что замужество дочери на чужой стороне ограничит ее контакты с родными, а также опасаясь незнакомого человека, семья невесты предпочитала пусть даже далеко не идеального, зато живущего поблизости парня: “Хоть за лыску, да близко”; “Хоть за нищего, да в Татищево”.

Поскольку брак рассматривался нашими предками прежде всего как обоюдно выгодная имущественно-хозяйственная сделка (девушка, становясь женой, шла на иждивение к мужу, а мужчина приобретал работницу, которая должна была вести хозяйство, и продолжательницу рода, которая воспитывала потомство), постольку остальное представлялось второстепенным, а невеста вовсе не имела возможности выбрать.

Конечно, пословицы признают, что предпочтительней положительные качества жениха (“Жених весел, всему браку радость”) и что было бы хорошо, если бы жених нравился невесте (“Человек по сердцу – половина венца”). Но если случалось, что “досталася гадине виноградная ягода”, молодая жена не должна была роптать. Ведь считалось, что лучше быть женой даже плохого мужа (“Худ мой Устим, да лучше с ним”), чем остаться в девках. Вот и должна была невеста смириться с тем, что предлагали ей родители: “Добьет мужа до худого мужа”; “Нету такого, выйдешь и за сякого”; “Не найдешь паренька – выйдешь и за пенька”; “Хоть за вола, только б в дому не была”. Что же касается душевных переживаний невесты, которую, чаще всего не

спрашивая ее мнения, могли выдать не только за безразличного, но даже и за неприятного ей человека, то страдания девушки представлялись пустым капризом: “Стерпится – слюбится”. Невесте предлагалось не горевать по поводу неудачного замужества, а просто присмотреться к изъянам мужа и постараться извлечь из них выгоду: “Не тужи красава, что за пьяницу попала: побьет, не воз навьет, а волюшка своя”.

Закон и обычай не позволяли сегодня объявить себя мужем и женой, а назавтра отказаться от данных перед алтарем обещаний. Пословица веско заявляет: “Женитьба есть, а разженитьбы нет”. И никому не было дела до того, при каких обстоятельствах заключался брачный союз, успели ли молодые и их родители убедиться в его необходимости: “Худой поп свенчает, и хорошему не развенчать”. Конечно, всякий может ошибиться. Но раз обратного пути уже не было, пословицы старались предупредить жениха: не принимай решения о создании семьи второпях: “На горячей кляче жениться не ездят”.

Нужно разузнать о невесте поподробнее: “Не заламывай рябинку не вызревшу, не сватай (не бери) девку не вызнавши”. Пословицы рекомендуют не обольщаться красивой внешностью, так как особого толку от красоты не бывает: “С лица не воду пить, умела бы пироги печь”; “Красную жену не в стенку врезать”. Напротив, от излишней привлекательности могут быть неприятности: жена-красавица может многим вскружить голову, и муж вынужден будет страдать от ревности. Пословица замечает: “Красивая жена – безочному (т.е. слепцу. – Л.С.) радость”. Лучше, полагает народ, разузнать хорошенько, что говорят о невесте окружающие – соседи, знакомые: “Жену выбирай не глазами, а ушами”. Поскольку людей без недостатков не бывает, с какими-то можно и примириться. Главное, чтобы потом не всплыли другие. Поэтому, как и жениха, невесту лучше взять из числа знакомых, даже заранее зная, что она обладает какими-то изъянами: “Ближняя хаянка лучше дальней хваленки” – ведь кто может поручиться, что хвалебный отзыв о незнакомом человеке соответствует истине?

Своеобразной “гарантией качества” считалась семья, из которой брали невесту. Ведь народ давно подметил: “Яблочко от яблоньки недалеко падает”; “Какова matka, таковы и детки”. Вот и руководствовался жених правилом: “Выбирай корову по рогам, а девку по родам (по родителям)”. Если родителей окружающие уважали, значит, и дочь их должна была быть воспитана достойным образом.

Еще один совет, к которому надо было прислушиваться жениху, – брать себе ровню по социальному положению: “Всяк руби дерево по себе”. Социально неравный брак, а точнее, брак, в котором муж оказывался из более низкого сословия, вряд ли мог принести счастье, так как муж не смог бы рассчитывать на главенствующее место в семье, а патриархальный строй этого не допускал. Поэтому и советует по-

словица: “У цыгана не бери лошади, у попа не бери дочери”. Разумеется, здесь есть и другой оттенок смысла. Польстившись на холеную, воспитанную в достатке и неге поповну, жених рисковал ввести в дом белоручку, которая не умела вести хозяйство, так как не была к этому приучена с детства. Подобную мысль передает и другая созвучная приведенной пословица: “Не покупай у ямщика лошади, а у вдовы не бери дочери: у ямщика лошадь изломана, у вдовы дочь избалована”.

Поскольку брак рассматривался прежде всего как экономический союз, невеста предпочиталась материально обеспеченная (“Будь жена хоть коза, лишь бы золотые рога”), поэтому ее родителям предлагалось позаботиться о будущем дочери заранее: “Дочку в колыбельку – приданое в коробейку”. Однако люди понимали, что богатство дает возможность его обладателю чувствовать себя хозяином положения. Поэтому пословицы советуют жениху хорошенько подумать, прежде чем решиться соединить судьбу с богатой девушкой, ведь неизвестно, каков ее характер. Может получиться и так, что она или ее родные будут постоянно напоминать о происхождении достатка в доме. Тогда то и станет ему жизнь в богатстве не мила: “Женино добро колом в глотке стоит”. А поскольку душевный покой всегда ценился людьми очень высоко, половицы увещевают: “Бери, чтоб не каяться, жить в любви да не маяться”; “Лучше на убогой жениться, чем с богатой браниться”. В конце концов, как говорит поговорка, имея в виду не только женитьбу, но и другие разнообразные жизненные ситуации, “деньги дело наживное”, а потому достичь материального благополучия – задача, которую вполне можно выполнить, уже вступив в семейную жизнь: “Была бы кость да тело, а платье сам делай”. К тому же отсутствие у жены своих средств к существованию сделает ее покорной женой, во всем зависимой от него: “Бесприданница – безответница”.

Существовала и другая причина, по которой богатство невесты не всегда было привлекательным. Хорошее приданое могло быть компенсацией каких-либо недостатков девушки: “Сундук с бельем, да невеста с бельмом (с горбом)”. Представление о том, что наличие приданого само по себе не гарантирует счастливой семейной жизни, внушалось и невесте: “И большое приданое не сделает мужа”; “Платье на грядке, а дурак на руке”; “Приданое в сундуке, а урод на руке”.

Важным для семейной жизни представлялся характер будущей жены. Положительные душевные качества были ее главными достоинствами: “Красна пава перьем, а жена нравом”. Особо ценилась скромность невесты, отсутствие в ней излишнего любопытства, упрямства и гордыни: “У красных девушек уши золотом завешаны”, – говорит половица, намекая на то, что девушки не должны лезть в чужие дела, а если и узнают что-то тайное, то должны помнить: “Слово – серебро, а молчание – золото”. Вот этим-то золотом молчания и надлежало им

завесить свои уши: “Чего девушка не знает, то ее и красит”; “Смирные – девичье ожерелье”.

Невесте не полагалось проводить все время в праздных развлечениях, вне дома, общаясь с множеством посторонних людей: “В клетках птицы, а в теремах девицы”; “Сиди, девица, за тремя порогами (запорами)”; “Держи деньги в темноте, а девуку – в тесноте”. Но, помня, что “береженого Бог бережет”, народная мудрость советует не дожидаться, пока в домашней “тесноте” девушке станет скучно и ей захочется вырваться на волю. Вот и подсказывает пословица отцу-матери: “Брагу сливай, не доквашивай; девуку отдай, не дорацивай”.

Итак, основные требования к невесте таковы: из уважаемой семьи, скромная, сговорчивая, послушная мужу, по возможности, обеспеченная приданым, моложе жениха, ровня или даже ниже жениха по социальному положению, с доброй славой, т.е. положительно оцениваемая окружающими.

Однако и народная философия понимала, что идеал – это то, к чему люди стремятся, но редко достигают: “Кабы всякому по нраву, так бы и царства небесного не надо”, а “червоточинка красному яблочку не покор” – каким-то из требований можно и поступиться. Поэтому пословицы советуют жениху и его родне не быть чересчур придирчивыми к избраннице, иначе можно навек остаться бобылем: “Много выбирать – женатым не бывать”. Между тем одинокому жить плохо: “Семья воюет, а одинокий горюет”; “Одна головня и в поле гаснет, а две дымятся”; “Живешь – не с кем покалякать, помрешь – некому поплакать”; “Бездетный умрет, и собака не возьмет”; “И в раю тошно жить одному”. В общем, “Холостой – полчеловека”, а “Семейная кашка гуще кипит”. Так что заключение семейного союза, по народному мнению, выраженному в пословицах, было неизбежным переходом к новому этапу жизни, к тому, что предначертано судьбою каждому: “Всякая невеста для своего жениха родится”.

Ростов-на-Дону



Адские машины, боевики и террористы

А. В. ЗЕЛЕНИН,

кандидат филологических наук

Наше время возвращает к жизни слова и понятия, казалось бы, давно забытые или полузабытые и находящиеся на периферии языка.

В русском языке словосочетание *адская машина* известно около двухсот лет. Источник – прямая калька с французского *machine infernale*. Во французском это выражение появилось после 1693 года, когда французы использовали против англичан в Сен-Мало взрывные устройства большой разрушительной силы, соединенные с часовым механизмом. Изобретенные в 1657 году Х. Гюйгенсом механические часы французы приспособили для военных нужд. Эффект – главным образом, психологический – по сравнению с бомбами (уже известными в Европе) был так велик, что в языке родилось метафорическое обозначение, основывающееся на сравнении с огненным адом – *machine infernale*. Первая письменная фиксация выражения относится к 1704 году (*Trésor de la langue française*. Paris, 1985. Т. II), а употреблялось оно в речи военных вплоть до конца XVIII века. В 1800 году при помощи такого устройства было совершено покушение на Наполеона Бонапарта, первого консула республики. С тех пор оно из профессионального языка вошло в общее употребление и приобрело новое значение – “взрывное устройство с часовым механизмом, используемое с целью покушения” (первая фиксация – 1801 г.; Littré E. *Dictionnaire de la langue française*. 1964. Т. 4; *Trésor de la langue française*. Paris, 1985. Т. II). Из французского оно было калькировано (в первой трети XIX века) в немецкий – *Höllmaschine* (*Hölle* – ад), заменив прежние *Sprengkörper* “подрывная шашка” (*Spreng* – взрыв, *Körper* – остов, корпус) и *Zeitwunder* “огнепроводный (бикфордов) шнур” (*Zeit* – время, *Zunder* – запад, взрыватель (*Brockhaus Enzyklopädie*. Wiesbaden, 1969, Т. 8; *Etymologisches Wörterbuch des Deutschen*. H.P. Berlin, 1989).

Прежде чем мы приступим к исследованию заимствованного выражения *адская машина*, необходимо вкратце остановиться на истории слова *машина* в русском языке, без знания семантики последнего бу-

дет непонятным существование некоторых интересующих нас словосочетаний в русском языке в конце XVIII – начале XIX века.

Слово *машина* оказалось заимствованным дважды: в XV веке из латинского *machina* “сооружение, здание” – *машина* (только в переводных текстах в узком значении – для обозначения осадных орудий), и в конце XVII – начале XVIII веков – *машина* (через польский *machina*; с ударением на первом или втором слогах) и *машина* (через немецкий – *Maschine*, с ударением на первом слоге). Значение на первых порах было очень неопределенным: с одной стороны, иноязычное заимствование пытались переводить словом *снасть*, с другой – в некоторых текстах видно противопоставление терминов *машина* (*машина*) и *инструмент*. Например, гигрометр в XVIII веке именовали *машиной*, а барометр – *инструментом*, в то же время к *машинам* относили компас. Формы *машина* и *машина* семантически не различались практически на протяжении всего XVIII века, сосуществуя в разных сферах техники и оставаясь в пределах профессиональной речи. В 20–40-е годы XIX века происходит функционально-стилистическое и семантическое размежевание данных обозначений: *машина* попадает в просторечно-областную речь (в значении “громоздкая, очень больших размеров вещь”), *машина* остается в пределах литературно-книжной речи, приобретая новые смысловые оттенки, новые сочетаемостные возможности. В 50–60-е годы XIX века закрепляется ударение на втором слоге – влияние немецкого ударения.

Именно семантическая нечеткость термина *машина* в русском языке XVIII века способствовала тому, что переводы французского *machine infernale* оказались весьма необычными. В военной сфере это французское словосочетание калькировали выражением *адская цепь* (фортификационный термин; здесь отчетливо видны следы первоначального использования данного приспособления как ряда взрывных устройств), *адская машина* (оборонительный термин), в публицистике – *адская машина*, *адский снаряд*. Специальные употребления таковы: “адская цепь – под этим словом разумеется соединение большого числа деревянных кубических ящиков, наполненных порохом и углубленных в землю, которые, будучи взорваны вдруг или постепенно, опрокидывают и разрушают наступательные подступы и работы осаждающего” (Энциклопедический лексикон. 1835. Т. 1); “адская машина – так называются деревянные плавучие машины, наполненные порохом и другими горючими веществами и употребляемые для сожжения мостов и судов неприятельских” (там же).

В то же время в общем языке калькированное словосочетание *адская машина* понималось иначе. В конце XVIII века, спустя несколько лет после французской революции 1789 года, в “Политическом журнале” появилось такое сообщение: “21-го Генваря, после 10 часов утра, {...} Король Французский, Людовик XVI, усекут в главу в Париже

всенародно посредством адской машины, названной Гюльйотиною” (1793. Ч. 3). Такой фонетический и графический облик слова *гильотина* в XVIII веке был не единственным: *гальотина*, *гальиотина*, *галлеотина*, *галлиотина*, *галлотина*, *галиотина*. Уравнивание *гильотины* и *адской машины* не казалось тогда странным, так как семантически нечеткое понятие “машина” могло обозначать любой большой механизм вообще. Ср. также попытку перевода французского *machine infernale* словосочетанием *адский снаряд*: “[Жандарм] весь встревожен: не везу ли в карете пушки я тайком? Не адский ли снаряд?” (Вяземский. Проезд через Францию в 1851 г.). Впрочем, по мере семантической специализации слова *машина* в русском языке калька *адская машина* начинает пониматься так: “убийственный снаряд с горючими веществами. Адские машины направлены были против Наполеона Бонапарта, первого консула французской республики (1800 г.), и Людовика Филиппа, Короля французов (1835 г.)” (Толль Ф. Настольный словарь для справок по всем отраслям знаний. СПб., 1863. Т. 1). В этом толковании еще не сказано, но уже глухо чувствуется приближение будущих террористических актов. Помещение данного словосочетания в справочное издание свидетельствовало, что эта реалья осознавалась еще как экзотизм.

Со времен французской революции в русском языке началось освоение и “террористической” терминологии. В русском языке начала XIX века понятие “террор” уже ассоциировалось с революцией; французское *terrifier* переводили как “устрашать, приводить в ужас”, *terroriser* – “наводить ужас”, *terrorisme* – “терроризм, грозная система правления”, *terroriste* – “террорист, действующий по грозной системе правления” (Полный французско-русский словарь. СПб., 1824. Т. 2). Революционная форма правления воспринималась в тогдашней терминологии как “грозная”, это был ближайший смысловой эквивалент нового для русского языка прилагательного *революционный*. Отсюда положительное отношение к террористам со стороны революционных демократов: “Террорист Давид приветствовал их атлетическими формами, которые он думал возродить в республике единой и нераздельной...” (Герцен. О себе); “... тысячелетнее царство Божие утвердится на земле не сладенькими и восторженными фразами идеальной и прекраснородушной Жиронды, а террористами – обоюдоострым мечом слова и дела Робеспьеров и Сен-Жюстов” (Белинский. Письма к В.П. Боткину. Апр. 1842 г.). Термины *террорист*, *терроризм*, *террористическая партия* встречаются у В.Ф. Одоевского, П.В. Анненкова. В тогдашнем словоупотреблении они скорее ассоциировались с представлениями: “якобинцы, революционеры; якобинская, революционная партия” – разумеется, у них еще нет коннотаций, присущих данным словам в современной речи.

В истории русского терроризма выделяют два периода: 1878–1892 и 1901–1911 годы. Покушения при помощи взрывных устройств на

жизнь государственных деятелей, “внезапная ⟨...⟩ смерть которых может навести наибольший страх на правительство и, лишив его умных и энергичных деятелей, потрясти его силу” (Нечаев С.Г. Катехизис революционера), в дальнейшем связали воедино *террористов* с адскими машинами как орудиями исполнения приговора, вынесенного группой заговорщиков или одиночкой-террористом. В общественном сознании термин *террорист* оказалась насыщенным негативными ассоциациями (особенно после публикации в газетах “Катехизиса...”, дискредитировавшего революционеров в общественном мнении).

В идеологии революционеров (народников и позднее марксистов) понятие “террориста-одиночки” уступило место понятию “организованного восстания” – революции, подготовленной партией единомышленников. В конце XIX века в русском языке в дополнение к слову *террорист* появляются новые обозначения – *бомбист* и *бомбометатель*. “У нас есть среди революционеров ярые террористы, есть отчаянные бомбисты” (Ленин. Земская кампания и план “Искры”); “[Иван:] У меня тоже темнеет в глазах, когда я выхожу на улицу. Ведь бомбисты убивают и отставных, им все равно ⟨...⟩ Это звери!” (Горький. Последние); “Университеты ⟨...⟩ переполнены студентами-бомбистами” (Половцев. Дневник); “Также увезены были из опасного дома, около которого соберутся завтра бомбометатели, ⟨...⟩ жена [сановника] и двое детей” (Л. Андреев. Рассказ о семи повешенных). Синонимом термину *терроризм* становится *бомбизм*: “Даже самый нелепый из нелепых защитников бомбизма не предлагал, кажется, до сих пор – утрашать ⟨...⟩ земцев” (Ленин. Земская кампания и план “Искры”) – происходит уточнение, сужение когда-то общего (во времена Герцена – Белинского) термина *террорист* “якобинец, революционер”. Языковой механизм такой замены – метонимия: часть замещает целое.

Интересно отметить разницу в толковании термина *бомбист*: в “Полном иллюстрированном словаре иностранных слов” И. Вайсблита (М.–Л., 1926) *бомбист* имеет значение “метатель бомб, бросивший бомбу, приготовляющий бомбы”, в Словаре Ушакова (Т. I) с пометой *газет(ное)* данное слово истолковано более жестко и с совершенно определенной прагматической оценкой: “человек, пользующийся бомбой при совершении террористических актов”. Следует также указать, что термины возникли на базе русского языка, а не являются заимствованными. В них легко вычлениаются суффиксы *-ист*, *-изм*; в русский язык эта модель пришла в конце XVIII века из французского, а в середине XIX века – из немецкой научной терминологии (*-ist*, *-izm*). Несмотря на всю соблазнительность отнесения терминов *бомбист*, *бомбизм* к заимствованию, они все-таки являются возникшими на почве русского языка, так как исторические словари немецкого языка данных слов не фиксируют.

Любопытно, что после революции 1917 года в термине *террорист* вдруг снова вспыхнул смысл “бунтарь, борец, революционер” (“Вильгельм Телль – убийца тирана, террорист”. Луначарский. История западноевропейской литературы. 9-я лекция). Однако революционерам все-таки приходилось всячески дистанцироваться от сопряжения этих понятий: “[Соколова – Софье:] Я пришла сказать, что мой сын не виновен, он не мог стрелять в вашего мужа [полицмейстера Коломийцева], вы понимаете. Мой сын не мог покушаться на жизнь человека – он не террорист! Он, конечно, революционер, как все честные люди в России...” (Горький. Последние). То чувство ужаса, страха, который внушали террористы в начале XX века в обществе, хорошо видно из следующей цитаты: “Нужно сказать, что в ту пору [1906 г.] новоиспеченные губернаторы, отправляясь к месту своего служения, не брали с собой ничего, кроме легкого багажа: зубочистка, портсигар и смена белья. Все равно через два-три дня тебя или переведут, или отзовут с причислением к министерству, или прикажут тебе написать прошение об отставке по болезни. Ну, конечно, учитывалась и возможность быть разорванным бомбой террориста” (Куприн. Тень Наполеона).

В послереволюционные годы к террористам стали причислять врагов большевиков. Началось все с когда-то бывших “союзников” анархистов, эсеров и меньшевиков (особенно после покушения на Ленина; ср. советский газетный эпитет той эпохи “озверелые злодеи-террористы”). В 30-е годы XX века террористами стали фашисты (“оголтелые фашистские террористы”). С началом “холодной войны” террористами объявили империалистические страны, особенно США. Перед нами уже противоположный языковой процесс: расширение содержания понятия, в отличие от дореволюционного (ср. *террорист* > *бомбист*), когда в него – в зависимости от эпохи – оказываются включенными разные по своей сущности реалии (денотаты): эсеры и меньшевики > фашисты > империалисты.

В идеологически ориентированной публицистике 60–70-х годов XX века произошел еще один сдвиг в использовании слов *террорист*, *бомбист* – их представителей стали признавать борцами с капитализмом: «Разве не ясно, что перед нами явная попытка доказать американцам, будто всякие антивоенные выступления, всякое инакомыслие в отношении нынешнего агрессивного внешнего курса республиканской администрации (...) роднит инакомыслящих с “бомбистами” и “террористами”» (Известия. 1971. 7 марта); “Возвратимся к исповеди бывшей бомбистки, не тем, кто обрекает мир на жизнь под Бомбой, обвинять кого бы то ни было в бомбизме” (А. Пумпянский. Бунтующая молодежь).

В общем употреблении словосочетание *адская машина* в начале XX века воспринималась как вполне нейтральная номинативная единица: “Когда раскрыли ее, то оказалась она адской машиной – снаря-

дом, начиненным порохом и устроенным так, чтобы взорваться при открытии» (Л. Андреев. Губернатор); «Он, наверное, анархист, в Испании много анархистов, подумал я и шепотом спросил: “Бомба? Адская машина?”» (И. Эренбург. Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников...). Однако способы совершенствования взрывных устройств и сосредоточение новых обозначений вокруг ключевого понятия “бомба” приводят к перераспределению семантических и функционально-стилистических отношений между ними: *адская машина*, чаще ассоциируясь с самодельным взрывным устройством, начинает восприниматься как публицистическая метафора для обозначения бомбы – второе название воспринимается номинативно первичным, первое – номинативно вторичным, экспрессивно-выразительным.

Именно в то время в языке военных появляется новый термин *бомба замедленного действия*. В публицистике 20–30-х годов XX века словосочетание *адская машина* в прямом значении встречается уже реже: “... суд предъявляет конфискованное у обвиняемых большое количество взрывчатых материалов, в том числе 7 кг динамита, 100 гранат, адские машины, большое количество револьверов и сигнальных ракет” (Известия ЦИК. 1934. 23 апр.). Зато появляются новые публицистические метафоры: “Фашизм пускает в ход всю адскую машину угроз и проклятий по адресу большевизма” (Большевизм. 1936. № IX); “Адская механика подготовки мировой империалистической войны стала яснее” (Ленингр. правда. 1934. 1 авг.). В дальнейшем *адская машина* для обозначения взрывного устройства в общем языке уже признается устаревшим; например, Большая Советская энциклопедия (2 изд.) дает такое определение понятия: «снаряд, снабженный часовым механизмом. Термин “а.м.” вышел из употребления. На принципе а.м., т.е. взрыве по прошествии заданного срока, устраивают т.н. мины замедленного действия» (1949. Т. 1).

Впрочем, постепенное затухание употребления словосочетания *адская машина* в советском языке 20–30-х годов XX века находилось в разительном противоречии с эмигрантской публицистикой, где эта фраза была весьма активна. Борьба с советской властью, советским строем толкала некоторые эмигрантские круги на совершение террористических актов. Поэтому в этих изданиях словосочетание *адская машина* встречается довольно часто: “В Харьковском ГПУ схвачено двое террористов в форме комсостава ГПУ. При них адская машина огромной силы” (Голос России. 1931. 1 сент.); “В Екатеринодаре группе противников советской власти удалось разместить адские машины в помещении штаба четвертой дивизии красной армии” (Там же).

Употребление словосочетания *адская машина* в советское время поддерживалось художественной литературой: “Заговорщики сумели внести в ставку Гитлера (...) сильный заряд взрывчатки и включить

адскую машину” (И. Падерин. Когда цветут камни). публицистика отсылала читателей к зарубежным реалиям: “Заседания съезда проходили в актовом зале экономического факультета местного университета. Вчера этот зал был взорван. Адская машина взорвалась через полчаса, как его покинули студенты и профессора, проводившие там свое собрание” (Правда. 1976. 25 мар.). В последние годы в средствах массовой информации происходит возвращение данного словосочетания применительно и к нашей действительности: “Охранник ⟨...⟩ обнаружил на подоконнике со стороны улицы взрывное устройство из двух тротильных шашек по 200 грамм каждая, двух электробатареек и механических часов ⟨...⟩ Адская машина, к счастью, не сработала” (Аиф. СПб., 1994. № 21). Любопытно, что еще в первой половине 90-х годов XX века обозначение *адская машина* считалось лексикографами вышедшим из употребления, историзмом; в БАС-2 и в “Толковом словаре русского языка” С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (даже в самых последних изданиях) оно имеет помету “устар(елое)”. Однако достаточно включить телевизор, пролистать газеты и журналы, чтобы убедиться, что эта стилистическая помета требует, видимо, уточнения.

Если метафорическое использование фразы *адская машина* в советском языке началось уже в 30-е годы XX века, то в последние годы прежде военные термины *бомба (мина) замедленного действия*, попав в язык публицистики, также приобрели переносное значение – “о том, что представляет скрытую угрозу, опасность чему-, кому-л”: “... перенеся спор за полуостров [Крым] в стены своего парламента, Россия попыталась разрешить его внешне мирными и ни к чему не обязывающими резолюциями, в которых на самом деле заложена мина замедленного действия” (Мегаполис Экспресс. 1992. 10 июня); «Но существуют сотни сект, не столь афиширующих свою деятельность. Их “учителя” и “гуру” ушли со стадионов, чтобы войти в наши дома – через книги, влияние которых, может быть, не столь оперативно, как “психотронная проповедь”, но куда более действенно. Кто оценит всю опасность “бомб замедленного действия”, обосновавшихся на наших книжных полках?» (Книж. обозрение. 1994. № 48).

Однако происходит не только актуализация понятий и наполнение их новым смыслом и коннотациями: «Чеченских “бомбистов” тренировали под Волгоградом» (Комс. правда. 1997. 8 мая). Вместе с этим процессом идет и уточнение понятий, появление новых синонимов, например, со словами *бомбист, террорист* в русском языке теперь синонимизируется термин *боевик*. В дореволюционное время *боевиками* именовали “членов боевой дружины в революционной партии” (Словарь Ушакова. Т. I) – преимущественно эсеров-максималистов в 1905–1907 годы: “Еще до 1905 г. была известна Боевая организация партии социалистов-революционеров, откуда боевик, т.е. член Бое-

вой организации” (Карцевский С.И. Язык, война и революция. Берлин, 1923). В конце 80-х годов XX века слово возвращается с периферии лексической системы в ее центр, актуализируясь и переосмысляясь: “хорошо обученный и оснащенный член незаконного вооруженного формирования” (Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения. СПб., 1998); “Боевик – как это понять? В переводе на юридический язык – террорист. Человек, который специально готовится для совершения террористического акта” (Огонек. 1990. № 2). Разумеется, у слов *боевик* и *террорист* в русском языке есть свои семантические отличия, однако оба они входят в одно понятийное поле, что и позволяет их считать синонимами на уровне обыденного (массового) сознания.

В этой заметке затронуты только некоторые стороны формирования понятий и терминов, связанных с терроризмом и орудиями насилия. Однако даже такой небольшой свод обозначений показывает, какими путями происходило их освоение, языковая трансформация и динамика, какое влияние оказывали на них социально-исторические факторы, как осуществлялось их перераспределение в номинативной, лексической, стилистической системе русского языка.

Санкт-Петербург

Книга скорби – скрижали Иуды ... кондуит

О. А. АНИЩЕНКО,
кандидат филологических наук

“Говорят: все дороги ведут в Рим”, – повторяет крылатое изречение Лев Кассиль, автор повести “Кондуит и Швамбрания” (1930), и неожиданно продолжает: “В гимназии все дороги ведут в кондуит”.

Что могло сравниться в гимназической среде предреволюционных лет, о которых идет речь в повести, с великим городом, притягивающим к себе тысячи паломников?

А всего-навсего школьный журнал с заметками о поведении учащихся. Он-то и назывался *кондуитом*. Слово это имеет более чем вековую историю существования в русском языке. В начале XIX века существительное *кондуит* вошло в употребление со значением: “поведение, образ жизни, в рассуждении состояния и поступок” (Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту, содержащий разные в Российском языке встречающиеся иностранные речения и технические термины. СПб., 1804. Ч. 2). Его производное – прилагательное *кондуитный* в сочетании с существительным *список* активно применялось в военном ведомстве: “До 1862 года так назывались особые списки, составлявшиеся о поведении и способностях офицеров” (Брокгауз Ф.А., Ефрон Н.А. Энциклопедический словарь. СПб., 1895. Т. 30).

Если поведение военнослужащих (после 1862 года) перестали отмечать в кондуитном списке, то проступки учащихся, напротив, получали в нем отражение. Данный список (журнал или книга) назывался в школьной среде кратко – *кондуит*. Слово было заимствовано из французского языка (*conduite* “поведение”) и подверглось метонимическому переносу.

Попасть в *кондуит* означало: попасть в немилость преподавателю и подвергнуться наказанию. *Книгой скорби, черной книгой* окрестили *кондуит* семинаристы, подчеркнув его безрадостное назначение. В анонимном письме в редакцию журнала “Основа” автор, жалуясь на условия, в которых проходит ученическая жизнь, упоминал *черную книгу*: “Наша полиция ни в каком случае не может правильно судить о поведении учеников. Не застанут, например, раз, два и три ученика на квартире и его поведение марают, вносят в так называемую черную книгу почти без разбирательства – где был ученик и по какому случаю” (Основа. 1862. № 7).

С аналогичным употреблением этого выражения можно встретиться в повести “Богуславское духовное училище”: «При мне в училище заведены были две книги, “черная” и “белая”, и ежегодно на конференцию при выдаче наград лучшим ученикам (наградами были только похвальные листы) приносились смотрителем училища обе книги. Сначала инспектор читал из “белой книги”, где значилось: кто переводится в высший класс, кому выдана награда; затем из рук смотрителя инспектор брал “черную книгу”. Тяжело было нам смотреть на нее: из черной книги читали, “кто оставлен был на второй год, кого совсем исключали, кого оставляли на усмотрение»» (Клебановский И. Богуславское духовное училище // Киевская старина. 1894. Т. 46).

В *черную книгу* поступали и сведения от фискалов, тайно сообщавших начальству все, что делалось среди товарищей, и она получила еще одно название *скрижали Иуды*, которое передает презрительное отношение в среде учеников к ябедам и наушникам: «Варсонафий перелистывал толстую книгу, так хорошо знакомую нам всем, знаменитый “конduit”, который называли еще: “книгой живота”, “книгой скорби” и “скрижалями Иуды»» (Добронравов Л. Новая бурса // Заветы. 1913. № 7).

Церковно окрашенное выражение *книга живота*, где сохранено старинное значение слова *живот* “жизнь”, таким образом, буквально оно значит – “книга жизни”. Это было одно из самых распространенных выражений в духовной школе, что подтверждают и примеры из художественных произведений о бурсе: «А как тебя звать? – спросил инспектор, уже приготовивший “книгу живота”, то есть свой conduit, куда он записывал всех пойманных» (Свидницкий А.П. Люборацкие. М., 1953); «Теперь пропала моя головушка! – подумал Краснопевцев, идя на свое место. Запишут в “книгу живота” ... завтра за это на голодный стол, а на экзамене позор...» (Малеонский М. [В. Бурцев]. Владиславлев. Повесть из быта семинаристов и духовенства. СПб., 1884. Т. 2).

О том, что эта книга действительно влияла на жизнь учеников, омарая ее, говорит и синонимичное семинарским, переосмысленное гимназическое выражение *голубиная книга*: “Жизнь каждого сизяка (гимназиста) была вписана в кондукитный журнал... Страшная это была книга. Тайная книга. Голубиная книга” (Кассиль. Три страны, которых нет на карте). Неслучайно *конduit* гимназисты называли *голубиной книгой*. Л. Кассиль повествует о сотнях голубей, томящихся в силке, т.е. о сотнях изнывающих от учительского деспотизма гимназистов, которых называли *сизяками* (голубями) за синий (сизый) цвет их одежды. Сочетание *голубиная книга* было магическим, оно навевало страх. Кондукитом угрожали, запугивали: “Пришел Николай Ильич. Узнав, в чем дело, он заявил, что если шум будет продолжаться, то все окажутся записанными в кондукит” (Кассиль. Указ. соч.).

Постепенно слово *кондуит* становится в гимназиях все более популярным, расширяет свое значение, обозначая не только журнал, фиксирующий школьные правонарушения и хранящийся “за семью печатями”, но и журнал с отметками – дневник, доступный ученику – его хозяину.

В Елецкой классической гимназии, например, по воспоминаниям Михаила Пришвина, *кондуит* с отметками выдавали в конце недели: «– Теперь, брат Алпатов, – сказал после урока Ахилл, – можешь не учить правила совсем; выучишь не выучишь – на весь год пойдет единица... И правда: на другой день у Курымушки было опять то же, на третий, на четвертый; в субботу выдали “кондуит”, и единицы в нем стояли, как ружья» (Пришвин. Кащеева цепь).

Несмотря на свое активное применение, слово *кондуит* остается специфическим, сохраняет условность (об этом говорят и сопровождающие его кавычки). Гимназисты, приветствовали революционный переворот в стране сжиганием кондуитов, по их мнению, дневников старого режима: “Ура! Смерть кондуитам! Ура! Горят последние в истории гимназические дневники! Огонь пожирает страницы позора и зубрежки... Мы начнем учиться по-новому. Кондуит кончился” (Касиль. Указ. соч.).

В современных словарях иностранных слов *кондуит* фиксируется со значением “журнал, в который в учебных заведениях заносились проступки учащихся; существовал в ряде стран в середине 19 – нач. 20 вв.” (Словарь иностранных слов. М., 1983). Л.П. Крысин дает в своем словаре помету *ист.* (историческое): “Журнал с записями поступков учащихся или военнослужащих” (Крысин Л.П. Толковый словарь иностранных слов. М., 2000).

Слово *кондуит* некогда широко распространенное в школьном кругу, претерпев семантические изменения и приобретя в русском языке образные синонимичные выражения, осталось запечатленным в художественной и мемуарной литературе, но современные школьники его не употребляют.

Казахстан,
Кокшетау



КОНДУИТНЫЙ СПИСОК – КОНДУИТ

И. Г. ДОБРОДОМОВ,
доктор филологических наук

В интересной заметке О.А. Анищенко рассмотрена история употребления слова *кондуит* в жаргоне дореволюционных средних учебных заведений России XIX – начала XX веков, но его корни оказываются более глубокими и восходят к Петровской эпохе.

Первые сведения о времени появления в русском языке слова *кондуит* дал “Словарь иностранных слов, вошедших в русский язык в эпоху Петра Великого” Н.А. Смирнова со ссылкой на Морской Устав: “**Кондуит**, гол. *conduite*, поведение. Ему (Генералу Адмиралу) подобает быть храбру и добраго кондуита (сиречь всякия годности) котораго бы квалитеты (или качества) с добродееанием были связаны” (СПб., 1910).

“Очерками по исторической лексикологии русского языка XVIII века” слово *кондуит* не было учтено. “Словарь русского языка XVIII века” не дает более раннего материала, но помещает форму женского рода *кондуита* как новое слово, вышедшее из употребления в XVIII веке (Биржакова Е.Э., Войнова Л.А., Кутина Л.Л. Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века: Языковые контакты и заимствования. Л., 1972; Словарь русского языка XVIII века. Л., 1998. Вып. 10).

Редкая форма женского рода была употребительна еще в 1772 году: “[Милодора] Он человек имущий многия квантитеты; да главная то его кондуита худа” (Сумароков А.П. Мать совместница дочери // Полн. собр. соч. М., 1781). Форма *кондуит* больше употреблялась в деловых бумагах до самого конца XVIII века: “По доброму кондуиту представлен достойным к производству” (Материалы для истории русского флота. Документы и письма. 1702–1783 гг. СПб., 1865–1883. Ч. IX). “Словарь русского языка XVIII века”, опираясь на уже существовавшее толкование этого слова в лексикографии XVIII – начала XIX веков, дает такое его значение: “**Кондуит**, поведение, поступок, состояниe” на основании толкования Н.М. Яновского: “**Кондуит**, фр. Поведение, образ жизни, в рассуждении состояния и поступок” (Яновский Н.М. Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту... СПб., 1803–1806. Ч. II).

Лексикограф Федор Кравчуновский раскрывает значение скорее французского слова, чем его русского соответствия: “**Конduit**, труба, водовод, водоток; проток, канал; провожание, правление, предводительство” (Кравчуновский Ф. Новый и полный толкователь слов Славянских, Греческих, Латинских, Немецких, Италианских, Французских, Жидовских, Турецких и других, употребляемых в Российском языке. Харьков, 1817).

В “Словаре русского языка, составленном Вторым отделением имп. Академии наук”, зафиксировано: “**Конduit**, а, м (франц. conduite: поведение). Список с отметками о поведении учащихся в средних учебных заведениях, а также о поведении и способностях военного чина. Который по его кондуиту и впредь при оной таможене быть может” (СПб., 1912. Т. IV. Вып. 6). Этот же Словарь отмечает такое же значение и в следующем употреблении у Н.С. Лескова в рассказе 1880 года “Белый орел”: “Конduit его был короток и прост: он в начале службы, по заботам отца, попал к графу Виктору Никитичу Панину, который любил старика за какие-то известные ему достоинства...”. В середине XX века к этому тексту Б.Я. Бухштаб дает следующий комментарий: “*Конduit* – журнал сведений о поведении учащихся; здесь в значении послужной список”, навязывая тексту с игровой стилистикой свое понимание – человека середины XX века – без учета этой стилистики (Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. М., 1958. Т. 7).

На самом же деле здесь слово *конduit* имеет переносное значение “биография, карьера”, которое, скорее всего, образовалось не на базе названия документа, а на основе архаического значения “поведение”. При этом следует обратить внимание на исключительную редкость употребления слова *конduit* в XIX веке вообще и Н.С. Лесковым в частности как средства создания разговорно-стилистического каламбура. В XIX веке слово *конduit* практически выходит из употребления и не фиксируется словарями. Однако производное от него прилагательное *конduitный* в качестве элемента составного термина *конduitный список* фиксируется словарями XIX века, причем в некоторых случаях подчеркивается узкая употребительность прилагательного, только с одним существительным: «**Конduitный**. Прилагательное от французского слова *conduite* “поведение”, употребляемое только со словом *список* для означения ведомостей о поведении» (Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка, издаваемый Н. Кириловым. СПб., 1845–1846. Вып. 1). В русско-французском словаре Н.П. Макарова прилагательное *конduitный* подано как по-прежнему употребляющее исключительно с существительным *список* и в шестидесятые годы XIX века: “**Конduitный**, *adj* – *список*” (Макаров Н.П. Полный русско-французский словарь. СПб., 1867).

Четырехтомный академический Словарь 1847 года опрометчиво дает прилагательное *конduitный* как свободное с фактически нере-

альными формами трех родов, но в качестве иллюстрации приводится лишь термин *конduitный список*, тогда как слово *конduit* не отмечено: “**Конduitный**, ая, ое, пр. Свидетельствующий о поведении. *Конduitный список*” (Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым отделением императорской Академии наук. СПб., 1847. Т. II). Вероятно, к словарю 1847 года и восходит неправильная традиция изолированной трактовки прилагательного *конduitный* “касающийся поведения” (Гавкин Н.Я. Карманный словарь иностранных слов. Киев, 1903). Неоконченный академический словарь (1912 г.) в числе иллюстративных цитат приводит интересные сведения: “Конduitные списки о поведении и способности офицеров отменены в 1862 (Леер)”. – с глухой ссылкой на военный энциклопедический словарь Г.А. Леера. Однако отмена conduitных списков не сказалась на словарях иностранных слов второй половины XIX века, которые по-прежнему объясняли только термин *конduitный список*, как актуальный или же относящийся к недавнему прошлому: “**Конduitный список** (от *conduire a последнее от лат. conducere – вести*). фр. Заметки о чьем-либо поведении; формулярный список, формуляр” (Полный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. СПб., 1861); “**Конduitный список**. Так называются списки военного ведомства о поведении и способностях всех служащих” (Дубровский Н. Полный толковый словарь всех обще-употребительных иностранных слов, вошедших в русский язык... М., 1879).

Отмена в 1862 году conduitных списков в военном ведомстве освободила составное название от строгой терминологической привязанности, и оно стало употребляться в качестве шуточного названия в весьма далеких сферах: “...коровы сытные, породистые; скотный двор содержится опрятно, каждая корова имеет свой conduitный список...” (Салтыков-Щедрин М.Е. Мелочи жизни. Собр. соч.: В 10 т. М., 1988. Т. 9).

В качестве выразительного средства бывший термин *конduitный список* закрепился в школьной практике как элемент буршикозного стиля (См. об этом: Булаховский Л.А. Курс русского литературного языка. Киев, 1952. Т. 1) и в конце XIX века даже проник в лексикографию, причем в непривычном сочетании со словом *книга*.

В первом издании “Настольного энциклопедического словаря” даже дается это новое сочетание: “**Конduitная книга**, или conduit, в гимназиях записная книга о поведении учеников” (Настольный энциклопедический словарь. Издание товарищества А. Гранат и К.М., 1892. Т. IV. В знаменитом 11-м стереотипном издании это словосочетание и слово *конduit* уже отсутствуют). Здесь в толковательной части особый интерес представляет выделенное из определительного сочетания *конduitный список* слово *конduit*, заменяющее словосочетание.

В более строгом “Энциклопедическом словаре” Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона нет ни нового сочетания *конduitная книга*, ни нового слова *конduit*: “**Конduitный список** – список о поведении. В воен. ведомстве до 1862 г. так назывались особые списки, составляющиеся о поведении и способностях офицеров” (Энциклопедический словарь. Изд. Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб., 1895. Т. XV^а).

В дальнейшем бурсацкое употребление сочетания *конduitный список/конduitная книга* из гимназий попадает в другие учебные заведения: “**Конduitный список** (фр.) в гимназиях и др. среднеучебных заведен. записная книга о поведении воспитанников” (Самый полный общедоступный словотолкователь 150.000 и объяснитель 450.000 иностранных слов, вошедших в русский язык... Составлен филологами Соколовым и Кремером, вновь обработал и дополнил по новейшим источникам С.Н. Алексеев. М., 1899. Изд. 5).

Вскоре образованное на базе словосочетаний *конduitный список* или *конduitная книга* и заменяющее их слово-синоним *конduit* было внесено И.А. Бодуэном де Куртенэ уже как заглавное в третье издание Толкового словаря В.И. Даля. В статью **Конduitный список** были внесены указания о функционировании слова *конduit* вместе со словосочетанием в средних учебных заведениях. Дополнения Бодуэна выделены квадратными скобками: “[*Конduit* м.], **конduitный список**, франц. [conduite], список с отметками о поведении [учащихся в средних учебных заведениях и о поведении] и способностях военного чина”.

Толкование И.А. Бодуэна де Куртенэ смешало две разные стадии употребления выражения. К значению сочетания *конduitный список* “список с отметками о поведении и способностях военного чина” у В.И. Даля он добавил характерное для его времени употребление касательно поведения “учащихся в средних учебных заведениях”. Однако эти два употребления разделены 1862 годом, когда *конduitные списки* в военном ведомстве были устранены. Новое слово *конduit* было связано лишь с буршикозным употреблением словосочетания *конduitный список*.

В результате появления существительного *конduit* из сочетания *конduitный список* прилагательное *конduitный* стало восприниматься как производное от быстро ставшего привычным нового имени существительного: “**Конduitный**, ая, ое. Относящийся к кондуиту. **К о н д у и т н ы й** список – то же, что конduit. *Окружное Правление представляет... установленные формулярные и конduitные о генералах, штаб- и обер-офицерах и чиновниках списки.* Уст. Путьей Сообщ. 5, пр. 2–7” (Словарь русского языка, составленный Вторым отделением имп. Академии наук. СПб., 1912. Т. IV. Вып. 6). Но реально дело обстоит наоборот. Новое существительное *конduit* не совпало по значению со старым галлицизмом русского языка XVIII века

кондуит “поведение”, от которого и было тогда образовано прилагательное. Толкование слова *кондуит* Бодуэна де Куртенэ было не только механически внесено в неоконченный академический словарь, но и оказало влияние на словарь под редакцией Д.Н. Ушакова: “**Кондуит, а, м** [фр. *conduite*] (истор.). Список, журнал, в к-ром отмечалось поведение, проступки учащихся или военных служащих. *Занести в К.*”

Кондуитный, ая, ое (истор.). Прил. к *кондуит*. *К. журнал*” (Толковый словарь русского языка. М., 1935. Т. I).

Обращает на себя внимание сочетание *кондуитный журнал*, возникшее под влиянием школьных *штрафной журнал* “книга для записи провинившихся учеников” и (*классный журнал* “книга, в которой ставятся отметки об успехах и поведении учеников”.

С.И. Ожегов сохранил устаревшее слово в своем кратком словаре вместе с прилагательным: “**Кондуит, -а, м.** (устар.). Журнал с записями проступков учащихся или военнослужащих. *Записать в К.* {...} прил. **кондуитный, -ая, -ое.** *К. список*” (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1952). В “Толковом словаре русского языка” С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой это слово также присутствует, с пометой *устар.* Здесь противопоставлено слово *кондуит* исходному *кондуитный список*, хотя в школьной практике они все-таки были синонимичны: “**Кондуит, -а, м** (устар.). В России до революции журнал с записями (*где?*) о поведении, проступках учащихся (преимущественно в духовных учебных заведениях и кадетских корпусах). *Записать в К. // прил. кондуитный, -ая, -ое.* *К. список* (в военном ведомстве до 1862 г.: сведения о поведении и способностях офицеров)” (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992). Здесь дается указание только на связь *кондуита* преимущественно с духовными учебными заведениями и кадетскими корпусами, хотя словари конца XIX века связывают это слово прежде всего с гимназиями.

Не вполне ясны и сведения, помещенные во втором издании “Большой советской энциклопедии”: “**Конудит** (от франц. *conduite* – поведение) – штрафной журнал, список, в который заносились проступки учащихся, *фиксировалось их поведение*. Впервые К. был введен по предложению реакционного нем. педагога И.Ф. Гербарта в середине 19 в. в школах Германии, а оттуда распространился по школам других стран. В царской России К. особенно широко применялся в духовных учебных заведениях и кадетских корпусах”, но в третьем издании была сделана корректировка сведений: “штрафной журнал, список, в к(ото)рый заносились проступки учащихся. Введен в сер. 19 в. в школах Германии по предложению И.Ф. Гербарта. В России применялся в гимназиях, духовных уч. заведениях и кадетских корпусах” (БСЭ. 2-е изд. 1953. Т. 20; 3-е изд. 1973. Т. 13).

Современное живое шутливое употребление слова *кондуит* отразил “Большой толковый словарь русского языка”; изданный Институ-

том лингвистических исследований Российской академии наук: “**Конduit**, -а, м. [от франц. *conduite* – поведение]. В учебных заведениях России до 1917 г.: список, журнал с записями о поведении и проступках учащихся. *Занести в К. |шутл.* О тетради или журнале большого формата для ведения каких-л. записей” (СПб., 1998).

“Словарь современного русского литературного языка” ограничивается раскрытием лишь одного значения вне какой бы то ни было связи с более старым сочетанием *конduitный список*, которое рассматривается как свободное речение к прилагательному *конduitный*, якобы происходящему от существительного *конduit* (в значении конца XIX в.): “**Конduit**, -а, м. В старой школе – список, журнал, куда заносились сведения о поведении учащихся. *Он не говорил им, что завел (...) особую книгу с надписью “конduit”, в которую не делался по вечерам заносить свои отметки об их поведении.* Серг.-Ценск. Пушки выдвигают” (Словарь современного русского литературного языка. М.–Л., 1956. Т. 5). Ни один словарь не отмечает, что новообразование конца XIX века *конduit* носило сниженный буршикозный характер. Невнимание к этому факту привело составителей семнадцатитомника к неосмотрительному включению едва ли корректной иллюстративной цитаты из романа “Пушки выдвигают” (1944) С.Н. Сергеева-Ценского (1875–1958), которая, скорее всего, намекает на нейтральный характер слова.

Перифразой толкования большого академического Словаря является статья в 4-томном словаре: “**Конduit**, -а: м. Список, журнал с записями о поведении и проступках учащихся в учебных заведениях дореволюционной России. *Занести в conduit* [от франц. *conduite* – поведение]” (Словарь русского языка. В 4-х т. М., 1958; 2-е изд. 1982).

Неподтвержденные сведения “Большой советской энциклопедии” о существовании кондуитов в школах Германии и других стран были перенесены в “Словари иностранных слов” 1960–70 годов. Традиционное совмещение как исходного сочетания *конduitный список*, так и производного от него слова *конduit* привело к тому, что последнее начинали привязывать к определенным и неопределенным зарубежным странам, чему способствовала “Большая советская энциклопедия” (2-е и 3-е изд.).

“Словарь иностранных слов”, составленный бригадой Государственного института “Советская энциклопедия” и послуживший основой для дальнейшей серии аналогичных советских изданий, начиная с 1937 года дает следующие значения: “**Конduit**, **конduitный список** – фр. [*conduite* поведение] – 1) список, в к-рый в старых школах заносились проступки учащихся; 2) *эл., ж.-д.* легкие нержавеющие, железные трубы для защиты изолированных кабелей поезда от механических повреждений” (Словарь иностранных слов. М., 1937. Ср. также: 2-е изд. М., 1941).

Впоследствии электротехническое и железнодорожное значение исчезло, а место возникновения кондуитов было безосновательно связано с Германией: “**Кондуит** [<фр. *conduite* поведение] – журнал, в который заносились проступки учащихся (*кондуитный список*); был введен в середине 19 в. в Германии” (Словарь иностранных слов. Изд. 6-е, перераб. и доп. М., 1964).

Некоторое время спустя последовало столь же странное распространение кондуитов и на какие-то другие страны, но с ограничением во времени: “**Кондуит** [< фр. *conduite* поведение] – журнал, в который в учебных заведениях заносились проступки учащихся; существовал в ряде стран в середине 19 – начале 20 вв.” (Словарь иностранных слов. Изд. 7-е, перераб. М., 1979).

Подводя итоги появления уже устаревшего слова *кондуит* “книга для записи проступков учащихся”, следует еще раз подчеркнуть, что оно появилось как производное от прилагательного в сочетании *кондуитный список*, заменив его. Само же прилагательное со значением “относящийся к поведению” было образовано от существительного *кондуит* “поведение”, которое в XIX веке уже почти не употреблялось: *кондуит* “поведение” → *кондуитный список* → *кондуит* “книга для записи проступков”.



Эмаль и смальта

Н. С. АРАПОВА,
кандидат филологических наук

Слово *эмаль* известно большему числу людей, нежели слово *смальта*, и этим, по-видимому, объясняется то, что этимологические словари русского языка включают только первое из них. Попытаемся восполнить этот пробел.

Что же такое *смальта*? Семнадцатитомный словарь современного русского литературного языка (ССРЛЯ) указывает на наличие у этого слова двух значений: “1. Ярко-синяя краска для окраски бумаги, стекло, фарфоровых и гончарных изделий [примеры из текстов не приводятся]. 2. Цветное непрозрачное стекло различной формы для мозаичных работ; пластинка, кубик из такого стекла [примеры поздние – из текстов XX века]”. В лексикографической ссылке указывается, что впервые слово *смальта* зафиксировано Толковым словарем В.И. Даля 1863 года и что оно восходит к немецкому *Schmalta*. В целом статья ССРЛЯ повторяет то, что сказано в Толковом словаре русского языка под ред. Д.Н. Ушакова, с той разницей, что последний отсылает русское *смальта* к итальянскому *smalto*, а всю статью предваряет пометой *специальное*.

Итак, на первое место оба фундаментальных словаря ставят значение “синяя краска”. Однако Толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 1996 года дает только второе значение: “**смальта**, собир. Куби-

ки или пластинки цветного непрозрачного стекла для мозаичных работ”.

Мы бы добавили еще одно значение – художественное изделие, выполненное из цветных кубиков непрозрачного стекла, например: Храм украшен замечательными смальтами, из которых лучшая – Преображение; фрески потускнели и осыпались, а смальты как новенькие.

Обратимся к истории слова *смальта* в русском языке. Естественно было бы искать его в трудах М.В. Ломоносова, поскольку он уделял огромное внимание развитию мозаичного дела в России и под его руководством в Усть-Рудицах была создана фабрика по изготовлению цветного стекла, из которого делались бисер, стеклярус и смальта для мозаик. Но Ломоносов не пользовался словом *смальта*. Он называл производимую под его руководством массу *цветным стеклом для мусии* (мозаики). Вот, например, фрагмент написанного Ломоносовым в 1749 году “репорта” о деятельности его фабрики: “Стекла разных цветов употребляют в финифть [эмаль. – Н.А.] и финифтяную живопись, на малевание фарфоровой и финифтяной – посуды, на мусию и на другие украшения”.

В 1741 году М.В. Ломоносов составляет на латинском языке “Минеральный каталог”. Спустя два–три года он был переведен на русский язык И.И. Голубцовым и В.И. Лебедевым. Этот перевод был отредактирован самим Ломоносовым. Здесь мы встречаем фразу: “Шмальта, или синее стекло, которое из кобальта плавят”. В этой фразе Ломоносов вставил глагол *плавят* вместо предложенного одним из переводчиков слова *льют*, но существительное *шмальта* оставил без внимания, так что оно, вне всякого сомнения, было ему известно. Что же означало это слово в середине XVIII века?

Ответ на этот вопрос мы найдем в “Минералогии” 1763 года И.Г. Валерия: “*Шмальта* или *синее скорбило* (Smaltum) делается из толченой и при том много или мало жженой кобальтовой руды, которую просеив прибавляют 3 или 4 части промытых и весьма мелко истолченных гольшей, и столько же поташу примешивают. Потом оное смешение в надлежащих горшках и печах сплавливают, а по надлежащей сплавке в корыта, водою наполненные, выливают. Таким образом сольется синее стекло, которое на мельницы отвозят и весьма мелко мелют, а после в воде размешивают, в которой стеклянная пыль на дно садится; после чего оную просушивают и на разные сорта разделяют, а наконец в бочки насыпают. Употребляется при гончарном деле для писания на израсцах и для крухмаленья беля”.

Фонетический облик слова *шмальта* говорит о том, что оно было заимствовано из немецкого языка. В том же виде это слово выступает в Словаре минералогическом Вольного экономического общества 1790 года.

В приведенных примерах немецкое *Smalte* морфологически переформлено на русской почве по образцу существительных первого склонения; но был и другой вариант: "...синь эмальная, инако шмельть синяя" (Словарь коммерческий. 1791; там же – "шмельть или смальт").

Итак, появляется форма *смальт*; в современной форме мы находим интересующее нас слово во "Всеобщей и врачебной химии" Ж.Ф. Жака 1795 года: "смальта или синий крахмал (*smalta*)". В "Словаре истории естественной" Б. Соколова 1801 года еще одна форма: "*Smaltum*. Смальтум, синее скорбило".

Начиная с середины XVIII века нам встречаются формы *шмал(ь)та*, *шмельть*, *смальт*, *смальтум* и *смальта* – в значении "синяя краска". Существовало даже специальное выражение *шмальтовый цвет*. В.М. Севергин (Первые основания минералогии. 1798) перечисляет оттенки синего цвета: "1) индиговой... 2) васильковой... 3) лазоревой... 4) шмальтовой, который есть цвет синего трукмала, приготовляемого из кобальта; он нарочито светел..."

Лексикографический итог под всем приведенным материалом подводит "Новый словотолкователь" Н. Яновского 1806 года (Т. 3): "**Шмальта** или смальта. Синий крахмал или трукмал, который есть ничто иное, как мелко измолотос стекло, приготовляемое на особливых заводах из синих кобольтовых руд, поташа и чистого песка или кварца, также кремня или рогового камня". Здесь мы вынуждены сказать несколько слов о существительном *крахмал*, иначе возможно неадекватное понимание текстов XVIII – начале XIX веков.

Заемствованное из польского языка (куда оно проникло из немецкого), слово *крахмал* на протяжении XVIII века постепенно вытесняет русское название этого продукта – *скорбило* (о нем см. статью *скорбиль* в Этимологическом словаре М. Фасмера). Само же слово *крахмал* встречается в вариантах *крухмалл*, *трукмал*. То, что мы сейчас называем *крахмалом*, называлось *белый крахмал* или *белое скорбило*, и это был органический продукт, получаемый обычно из пшеничного зерна. Ему противопоставлялся *синий крахмал* или *синее скорбило*, вещество неорганическое, приготовление которого описывается в уже приведенной нами цитате из "Минералогии" И.Р. Валерия. Это различие белого и синего крахмала нашло свое отражение в Словаре Академии Российской 1814 года (Ч. 3). Позволим себе также высказать предположение, что *белым крахмалом* белье крахмалили, а *синим* – подсинивали, но так как и то и другое было женским занятием, то авторы цитируемых трудов, будучи мужчинами, недостаточно вникали в тонкости прачечного дела.

После смерти М.В. Ломоносова фабрика по изготовлению цветного стекла постепенно приходит в упадок. Но в николаевское время (нач. XIX века) при отделке Исаакиевского собора и некоторых других сооружений (например, часовни на Николаевском мосту в Петер-

бурге) интерес к мозаикам возродился. Из Италии для мозаичных работ был приглашен специальный мастер Винченцо Рафаэлли, но еще до его приезда над мозаиками работали Е.Я. Веклер и его ученики. В это время, по-видимому, и сформировался термин *смальта* в значении “кубики, пластинки, кусочки цветного стекла для составления мозаик”. Мы находим его в книге П.Н. Петрова “Краткое обозрение мозаичного дела, особенно в России” (1864): “Один экземпляр такой мозаики [работы итальянских мастеров. – Н.А.], увиденный Михаилом Васильевичем Ломоносовым в доме покровителя его, вице-канцлера М.Л. Воронцова – портрет императрицы Елизаветы Петровны, – настолько подстрекнул его любознательность, что он изобрел свою смальту”. И далее: “Запасных шмелъцов [сплавов. – Н.А.] оставалось в лаборатории к 1851 г. 189 пуд на 5376 руб. На выделку смальт и на содержание заведения употреблено 18 675 р. 91 к.”

В последней цитате отметим слово *шмелъц* – оно нам еще понадобится.

Однако слово *смальта* в XIX веке (как, впрочем, и сейчас) не вошло в широкое употребление. Оно было известно только специалистам – мозаистам, художникам, стеклоделам, химикам, искусствоведам. Этим, скорее всего, объясняется и неустойчивость в грамматическом роде этого слова. Так, в Энциклопедическом словаре Брокгауза – Ефрона в статье **Мозаика** читаем: “[картина] составляемая из множества кусков и штифтиков смальта... [панно] из золотых смальтов”.

Однако в том же словаре в статье **Стеклопанно** слово *смальта* – женского рода. Как существительное женского рода выступает и заглавное слово *смальта*, но оно собственной словарной статьи не имеет, а отсылает читателя к статьям **Мозаика** и **Стеклопанно**.

Оставим на время слово *смальта* и поговорим о слове *эмаль*.

“Очерки по исторической лексикологии” Е.Э. Биржаковой, Л.А. Войновой и Л.Л. Кутиной датируют появление этого слова в русском языке 1798 годом. Эту датировку можно отодвинуть на десять лет: “эмаль или финифть”, читаем мы в “Китайском философе” Я.П. Козельского 1788 года. Ранее – например, в “Химии” Макера (1774. Т. 1) встречаем – “финифть” (email). Глагол *эмалировать* появился в русском языке уже в первой половине XVIII века: “...сии поливанные или амалированные весчи [вещи. – Н.А.]...” (письмо историка В.Н. Татищева И.Д. Шумахеру от 25 октября 1741 г. – см. Василий Никитич Татищев. Записки. Письма), но окончательно вошел в русский язык в начале XIX века. Причастие *эмалированный* мы находим в “Экономическом и технологическом магазине” В.А. Левшина 1814 года (Т. 4); существительное *эмалировка* – в “Немецко-русском словаре технических терминов” В. Еремеева 1839 года, *эмалирование* – в “Горном журнале” 1840 года (Т. 2. № 3).

Французское *émail* “эмаль”, согласно “Nouveau dictionnaire étymologique et historique” (A. Dauzat, J. Dubois, H. Mitterand), возникло из *esmal*, которое проникло из языка франков, где **smalt* родственно немецкому *Schmelz* “сплав”, *schmelzen* “плавить”: “эмали – это сплавы стекла с различными металлическими соединениями, которые окрашивали стекловидную массу в разные цвета”. Это немецкое слово проникло и в итальянский язык, где *smalto* (произносится *эмальто*) имеет значение “эмаль” и “смальта” (Olivieri D. *Dizionario etimologico italiano*. 1953). Затем французское слово (германское по происхождению, но фонетически значительно изменившееся на французской почве и приобретшее техническое значение “стеклянный сплав”) в XVIII веке заимствуется немецким языком: *Email* “эмаль”. В русский язык слово *эмаль* могло попасть как из немецкого, так и непосредственно из французского языка.

Итальянское *smalto* (немецкое по происхождению) было обратно заимствовано немецким языком в значении “смальта, кусочки разноцветного стекла для мозаичных работ” (Duden *Fremdwörterbuch*). В русский язык слово *смальта* могло проникнуть как из немецкого, так и из итальянского языков.

Итак, древнее германское слово, попав во французский и итальянский языки, претерпев в них фонетические и семантические изменения, вернулось неузнанным в немецкий язык и оттуда (скорее всего) пришло в русский язык в виде существительных *эмаль* и *смальта*. Им обоим родственно слово *смалец* “топленое сало”, проникшее в русский язык через украинское и польское посредство.



А. ВЕЖБИЦКАЯ. Понимание культур через посредство ключевых слов

Труды Анны Вежбицкой уже почти сорок лет находятся в центре внимания мировой и российской науки. В 1999 году в издательстве “Языки славянской культуры” вышла большая монография ученого “Семантические универсалии и описание языков”. Новая книга, изданная в малой серии “Язык. Семиотика. Культура” того же издательства, – “Понимание культур через посредство ключевых слов” (М., 2001), продолжает цикл лингвокультурологических исследований А. Вежбицкой прежде всего в области семантики, но не только. Основные положения, развиваемые в ее труде, состоят в том, что разные языки существенно отличаются друг от друга по своему словарному составу, и это их свойство отражают различия ценностных характеристик культурных общностей.

В предисловии к изданию его переводчик А.Д. Шмелев обоснованно пишет, что “книга А. Вежбицкой демонстрирует, что изучение словарного состава языка дает нам *объективные* (курсив наш. – О.Н.) данные, позволяющие судить о базовых ценностях обслуживаемой этим языком культуры. Тщательный лингвистический анализ может служить основой строгого (...) изучения различных культурных моделей, а использование универсального семантического метаязыка позволяет представить результаты такого изучения так, что они оказываются понятны даже людям, не принадлежащим данной культуре и не знакомым с данным языком” (С. 11). Это замечание автора предисловия нам кажется весьма существенным и потому, что еще до конца не выяснены (а во многих случаях даже неизвестны) культурные составляющие того или иного языка. Как они воздействуют на

формирование социума? В какой связи компоненты языка находятся с компонентами культуры? Как происходят семантические “превращения” внутри системы языка, и влияет ли это на движение самого общества? Эти и многие другие вопросы решает А. Вежбицкая на страницах своей книги.

Во Введении автор обращает внимание на то, что существуют “лингвоспецифические обозначения для особых видов вещей” (С. 14). Как они проявляются в конкретном языке, хорошо видно из приводимого примера: «⟨...⟩ не случайно, – пишет она, – то, что в английском языке нет слова, соответствующего русскому глаголу *христосоваться*, толкуемому “Оксфордским русско-английским словарем” как “обмениваться троекратным поцелуем (в качестве пасхального приветствия)”, ⟨...⟩ или то, что в нем нет слова, соответствующего японскому слову *mai*, обозначающему формальный акт, когда будущая невеста и ее семья в первый раз встречаются с будущим женихом и его семьей» (С. 14–15).

Во вводной части автор обращается и к другим вопросам полилингвистического пространства: антропологии, когнитивному языкознанию, семантическому метаязыку и т.д. Вот заголовки некоторых разделов: “Слова и культуры”, “Различные слова, различный образ мышления?”, “Культурная разработанность и лексический состав языка”, “Частотность слов и культура”, “Ключевые слова и ядерные концепции культуры”, “Лингвистические и концептуальные универсалии” и др.

Для большей части исследователей русского языка интересны в книге А. Вежбицкой примеры и комментирование русско-славянских соответствий, а также то, как происходит проникновение разных смыслов в культурные концепты родственных и неродственных языков. Ученый приводит такой пример: “⟨...⟩ русское слово *судьба* выражает исторически передаваемое представление о жизни, при помощи которого русские сообщают друг другу о том, как живут люди, и на основе которого развиваются их жизненные установки. Слово *судьба* (высокочастотное в русской речи) не только свидетельствует о данном наследуемом представлении, но и дает ключ к его пониманию” (С. 44). В этом смысле идеи ученого пересекаются с взглядами Н.И. Толстого, Ю.С. Степанова, рассматривавших фольклорные “установки” и семантические модели культуры, а также их влияние на языковую “субстрат общества”.

Во многом познавательна и оригинальна вторая глава книги – «Словарный состав как ключ к этносоциологии культуры: модели “дружбы” в разных культурах». Из разделов этой части («Дружба» – универсальное человеческое свойство», «Изменяющееся значение английского слова *friend*», «Модели “дружбы” в русской культуре», «Модели “дружбы” в польской культуре», «*Mate* – ключ к австралий-

ской культуре”) самое значительное место занимает анализ отмеченной модели в русском языке. И это не случайно. Как пишет А. Вежицкая, ссылаясь на данные 1970-х гг. известного социолога И. Кона, например, “американцы ставят дружбу на десятое место в списке ценностей, тогда как при аналогичном опросе в России дружба была на шестом месте” (С. 105).

Само свойство родной речи, по мнению автора книги, располагает к наличию синонимических групп разного качества, в той или иной мере выражающих данную модель: *друг, подруга, знакомый, приятель, товарищ* и т.п. Интересно такое замечание А. Вежицкой: “Русский язык располагает особенно хорошо разработанной категоризацией отношений между людьми не только по сравнению с западноевропейскими языками, но и по сравнению с другими славянскими языками” (С. 106). Далее автор предпринимает семантический и культурологический анализ слов-моделей *друг, подруга, приятель, товарищ, родные*, определяет степень их частотности и употребительности. «Интересно, – замечает она, – что русское *друг* часто используется как форма обращения, особенно в письмах, которые начинаются такими обращениями, как “Наташа, мой друг”, и заканчиваются аналогичными выражениями дружбы, такими, как “твой друг Андрей”» (С. 113). Этот функциональный мотив отсутствует, например, в английском языке, где словосочетание *my friend* тоже используется как обращение, но “его употребление является ироничным, саркастичным или покровительственным” (Там же). Интересны рассуждения зарубежного ученого о слове *товарищ* и его семантических метаморфозах в советскую эпоху. «Пока к тебе обращались *товарищ*, – пишет А. Вежицкая, – это было знаком того, что ты “свой”; когда ты терял это звание и право применять это обращение по отношению к другим, это означало, что ты исключался из числа “своих”...» (С. 125). И далее: “Если бы надо было назвать одно слово в качестве ключевого слова советского русского языка, то, вероятно, это было бы именно данное слово” (Там же). Хотя, заметим, автор книги совсем не склонен излишне “политизировать” значение этого слова-концепта нашей жизни и справедливо различает две его оболочки. Первая, о которой речь шла выше, была наиболее частотна в советскую эпоху и следовала за такими словами, как *год, дело, человек, жизнь, день*. Другой же *товарищ*, по мнению А. Вежицкой, подразумевает “коллективную идентификацию”: “Наше слово гордое “товарищ” Нам дороже всех красивых слов” (С. 133).

Стоит заметить, однако, что исконно слово *товарищ* не было столь идеологизованным, как получилось позднее. Его, в частности, фиксируют в среднерусском языке XVI–XVII вв. и даже ранее, с XIV века, когда оно означало “сотоварищ”, “участник”, а в других славянских языках было синонимично словам “подмастерье”, “общест-

во” (см.: Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. 2. М., 1993. С. 247).

Наконец, третья глава книги А. Вежбицкой – о слове *свобода* в латинском, английском, русском и польском языках – вызывает также определенный интерес с точки зрения модных в последние годы исследований слов как “культурологических концептов”.

Книга А. Вежбицкой построена на большом фактическом материале и замечательна уже тем, что обращает внимание русских читателей на специфику и колорит отдельных слов-моделей, имеющих и в других языках, но функционирующих в них по-разному. Такое пересечение “концептуальных” и “культурных” миров свидетельствует об универсальных свойствах языка вообще, где до сих пор (особенно в сравнительно-типологических и семантических исследованиях) еще немало белых пятен. Обнаружить и объяснить их – задача, которую в том числе решала А. Вежбицкая на страницах своей книги.

О.В. Никитин

Живы ли слова *объёмистый* и *комфортабельный*?

ЭР. ХАН-ПИРА,
кандидат филологических наук

В реплике под столь же хлестким, сколь и удивительным названием “Подопытный язык” (Известия. 2001. 17 дек.) утверждается, что “филологическое начальство” с целью “отвести от себя обвинения в полной бездеятельности кое-какие нововведения все же производит”: “несколько лет назад из нормативного обихода было изгнано слово *объёмистый*... Другой жертвой филологической инициативности стало слово *комфортабельный*. Упаси Бог употребить его вместо полагающегося теперь *комфортного*...”

Обратимся к нормативным словарям, т.е. словарям, которые с той или иной степенью достоверности (адекватности) отражают объективно существующую в литературном языке норму словоупотребления (включая и самый факт пребывания слова в литературном языке). Я упомянул о степени адекватности потому, что порой объективно существующая языковая норма может быть несходно представлена в разных словарях. Например, норма ударения (акцентная норма) у слов *йогурт* и *кетчуп* в Орфоэпическом словаре русского языка представлена в отличие от других словарей с ударением на последнем слоге.

Более шестидесяти лет назад в Толковом словаре русского языка под ред. Д.Н. Ушакова *комфортабельный* и *комфортный* признавались синонимами. При этом первое слово характеризовалось как разговорное, а второе – как устаревшее. Прошло полвека, и четырехтомный Словарь русского языка признает их паронимами (т.е. словами одной части речи и одного корня, но с разными значениями). Правда, это неполные паронимы: у них есть совпадающее значение – “удобный, уютный, с комфортом”. У *комфортного* словарь отмечает и другое значение: “такой, который благоприятно отражается на самочувствии, доставляет приятное ощущение и т.п.”. Мы скажем: *комфортные обстоятельства*, а не *комфортабельные* (более подробно об этих словах и их значениях см.: Русская речь. 1999. № 4. С. 60).

Прошло еще 16 лет, и Большой толковый словарь русского языка (СПб., 1998) тоже полагает эти слова неполными паронимами. Оба

эти слова есть в Орфоэпическом словаре. А в Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (М., 1997) нет *комфортного*, только *комфортабельный*. Однако присутствие слова в разных словарях в разное время – верное свидетельство его наличия в языке. С другой стороны, отсутствие слова в одном из словарей не может служить доказательством его исчезновения.

Теперь *объёмный* и *объёмистый*. В Словаре под ред. Д.Н. Ушакова эти слова имеют разное значение. *Объёмистый* – “большой по объему. Объёмистая книга”. *Объёмный* отнесено к специальной лексике и истолковано так: “Прилагательное к *объем* в 1 знач.”. *Объем* в этом значении: “величина в длину и высоту какого-нибудь тела с замкнутыми поверхностями, измеряемая в кубических единицах”. Стало быть, в этом словаре эти слова признаются полными паронимами. Со временем у *объёмного* появляется такое же значение, как и у слова *объёмистый*. Оба они становятся неполными паронимами или, если угодно, неполными синонимами.

Это изменение запечатлено в упомянутом четырехтомном академическом словаре русского языка, в Толковом Словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, в Большом толковом словаре русского языка. *Объёмный* и *объёмистый* присутствуют в Орфоэпическом словаре. К сказанному добавим, что все четыре слова есть в академическом Орфографическом словаре русского языка (М., 1991) и в Орфографическом словаре русского языка (М., 2000).

Итак, нормативные словари не подтверждают нужды в некрологе, посвященном *комфортабельному* вкуче с *объёмистым*.

Составители словарей руководствуются не указаниями “филологического начальства”, а показаниями картотек. В петербургской академической картотеке число карточек с примерами словоупотреблений давно уже перевалило за семь миллионов. В картотеках каждое слово представлено сотнями случаев его использования разными авторами на протяжении веков. И никакое “филологическое начальство” не посмеет, да и не сможет запретить то, что солидарно утверждают словари. К тому же и в среде филологов жив афоризм И.П. Павлова: “Факты – воздух ученого”.

P.S. Через десять дней после публикации реплики читаем в “Известиях”: “Лукашенко в Кремле чувствует себя вполне комфортно”. Вряд ли языковая интуиция (чутье языка) позволит здесь заменить *комфортно* на *комфортабельно*!

Евро в русской речи

М. В. ЛЕЙЧИК,

доктор филологических наук

Как объяснить название *евро* с точки зрения словообразования?

М. Клечевская (г. Москва)

В теории словообразования различают сокращения и усечения. Сокращения, или аббревиатуры, – это слова, созданные в результате сохранения в устной или письменной форме отдельных элементов словосочетания при одновременном устранении других частей входящих в него слов. Имеют место аббревиатуры буквенные (*США*), звуковые (*вуз*), звуко-буквенные (*ЦСКА* – произносится: цэ-эс-ка), слоговые (*Мосстрой*) и др.

Усечения образуются в результате сохранения в устной или письменной форме части одного слова. Вначале создавались письменные усечения, например, *г* – грамм, *км* – километр. Затем получили распространение произносимые (лексические) образования. Устные усечения возникли в разговорной речи, они часто носили шуточный характер: “У нашего *зама* суровая жена”; “Я одолжил ему три *рэ*”. В дальнейшем усечения перешли в деловой и публицистический стили (*авто*, *кино*). В каждом современном языке они базируются на фонетических и словообразовательных особенностях этого языка. Во французском с его ударением на последнем слоге слова могут сохраняться лишь концевые части слов: *pitaine* от *capitaine* – капитан; в английском – начальные, концевые и даже срединные звуки: *lab* от *laboratory* – лаборатория, *bus* от *autobus* – автобус, *flu* от *influenza* – инфлюэнца, испанский грипп.

Название новой денежной единицы *евро* представляет собой интернациональное усечение от слов *Европа*, *европейский*. Оно имеет единое для всех использующих его языков, значение и разную – в зависимости от языка – национальную форму.

В русском языке *евро* – несклоняемое существительное мужского рода.